

2.3

БАРАТЫНСКИЙ

184324

ОГИЗ · ГОСЛИТИЗДАТ

1945



БАРАТЫНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Редакция, статья
и примечания
Н. МЕДВЕДЕВОЙ*

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1945,

БАРАТЫНСКИЙ

«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

Пушкин

Исполнилось 100 лет со дня смерти Баратынского, одного из лучших русских поэтов. Современник Пушкина, он, несмотря на господствующее влияние пушкинского гения, сумел найти оригинальный творческий путь.

Пушкин любил поэзию Баратынского и первый понял ее своеобразие. В «Евгении Онегине», «Черепе» и других произведениях Пушкина мы встречаем имя «певца пиров и грусти томной», «Гамлета»-Баратынского. В письмах Пушкина постоянны упоминания, вопросы и суждения о Баратынском. Сохранились три наброска неоконченной статьи Пушкина об его творчестве¹.

Наброски эти составляют очень ценную и полную характеристику поэзии Баратынского. Суждения Пушкина тем удивительнее своей полнотой и точностью, что они основаны лишь на знакомстве с произведениями первых десяти лет творчества Баратынского. Между тем в оценках Пушкина заключено всё то, что через три четверти века было отмечено символистской критикой, провозгласившей Баратынского поэтом мысли. Эта критика имела в виду лишь позднего Баратынского, автора «Последнего поэта» и других стихотворений сборника «Сумерки», тогда как принято было считать раннюю поэзию Баратынского в основном подражательной. Теперь в своей оценке его творчества мы во многом возвращаемся к Пушкину, который показал цельность и единство поэтического пути Баратынского.

Пушкин пишет: «Первые произведения Баратынского были элегии, и в этом роде он первенствует. Ныне вошло в моду порицать элегии — как в старину старались осмеять оды; но если вялые подражатели Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из этого еще не следует, что роды лирический² и элегический должны быть исключены из разрядных книг поэтической олигархии». Пушкин отводит Баратынскому как элегику первое место в русской поэзии.

¹ Первый из них датируется 1827 годом, второй — 1828 и третий — 1830—1831 годами.

² Лирический — то есть одический, в словоупотреблении Пушкина.

Вопрос о русской элегии тем самым связан для Пушкина с именем Баратынского. Говоря о «моде порицать» элегии, Пушкин имеет в виду многочисленные статьи в журналах «Благонамеренный» и «Вестник Европы» начала 20-х годов. Статьи эти, направленные против так называемой «унылой» элегии и затрагивающие Баратынского, высмеивали молодых поэтов-романтиков, оплакивавших «отцветшую молодость» и «увянувшую душу». В 1824 году вопрос об элегии был принципиально поставлен Кюхельбекером¹. Порицая унылые песнопения, Кюхельбекер, сторонник героической и философской поэзии, предлагал отказаться от элегии, как устаревшего поэтического жанра. Пушкин соглашался с Кюхельбекером в том, что традиционная элегия устарела, а в 1825 году, в эпиграмме «Соловей и кукушка», говорил, что «несносна» не элегия, а подражания поэтам-элегикам. Недаром Баратынский откликнулся на эпиграмму письмом², одобряя Пушкина за то, что он «отделал» элгикив-подражателей. Признавшись, что и самому ему досталось «поделом», Баратынский тем самым отгородился от подражательной унылой элегии. В этом же письме он писал: «Я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Бытье жеманное поэтов наших лет»³.

В одном из набросков статьи о Баратынском Пушкин указывает на гибкость элегии, способность ее принимать различный характер. Он пишет: «...у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирический⁴ (чему в новейшее время видим примеры у Гёте)». Набросок Пушкина обрывается на этом месте, и мы не знаем развития его мысли. Однако ясно, что Пушкин хотел перейти к разбору особенностей лирики Баратынского, расширяющей самое понятие элегии.

От других родов лирики элегия отличается своей медитативной⁵ основой. Размышление, как основной тон, характеризует не только так называемую унылую элегию и элегию историческую (типа «На развалинах замка в Швеции» Батюшкова), но и любовную, эпикурейскую.

«Признание», «Любовь» («Мы пьем в любви отраву сладкую») и многие другие элегии Баратынского составили ему славу «эро-

¹ В статьях: «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» и «Разговор с Ф. В. Булгариным», «Мнемозина», ч. II—III.

² Письмо Пушкину, 5 (20) января 1826 года.

³ «Богдановичу» — ранняя редакция.

⁴ То есть одический.

⁵ Méditation — размышление.

гического» поэта. В третьей главе «Евгения Онегина» Пушкин вспоминает Баратынского в связи с письмом Татьяны:

Певец Пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...

Элегия «Признание» названа Пушкиным «чудом» и «совершенством»¹. Оригинальность ее — в неожиданном для жанра элегии психологизме. Вместо обычных для любовной элегии размышлений об утраченной молодости, разлуке или встрече с любимой (таких элегий в начале 20-х годов у Баратынского много), здесь дан сильный и лаконический очерк отлюбившей, опустошенной души. Реалистические детали «Признания», размышления о будущем браке без любви нарушают установившиеся каноны элегии (ср. «Оправдание» и др.).

Психология высокой любви и любви-страсти является темой целого ряда ранних и поздних элегий Баратынского. Героиня его элегии не безликая красавица — она обладает лицом, характером. Это трагическая «русалка», «Магдалина», жестокая властительница сердец («Как много ты в немного дней», «Всегда и в пурпуре и злате» и др.), прихотливая, капризная очаровательница («О своенравная София», «Неизвинительной ошибкой»), тихое, трогательное существо («Восйковой», «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней»).

Говоря о соединении «метафизики и поэзии» у Баратынского, Пушкин подчеркивал именно элегическое начало его творчества². Элегии Баратынского, начиная с очень ранних и кончая последними, отличаются глубоким идейным содержанием. Темой элегий «Истина», «Две доли», «Череп» является борьба между чувственным, наивным восприятием мира, дающим радость бытия, и торжеством анализа, убивающего иллюзии. Эта же мысль, но несколько усложненная, характеризует и поздние произведения Баратынского («Последний поэт», «Последняя смерть», «Приметы», «Всё мысль да мысль» и др.). В «Последнем поэте» критика рационализма переходит в суд над практицизмом века, его жестокой капиталистической

¹ Письмо Пушкина А. А. Бестужеву от 12 января 1824 года.

² Под метафизикой Пушкин разумел способность к философскому и психологическому анализу.

сущностью. В своих элегиях Баратынский решает основные вопросы бытия, взаимоотношения художника с обществом и природой. Он последователен и верен этим темам на протяжении всего творческого пути. В его ранней элегии впервые появляется тема «надежды и волнения» и «безнадежности и покоя» («Две доли», «Буря» и др.). То же противопоставление встречаем и в поздних элегиях («Были бури, непогоды», «Когда исчезнет омрачение»). С годами становится лишь отчетливее аналитическая сущность элегий и вовсе исчезает резонерский, морализующий тон. Баратынскому удается показать диалектику борьбы двух начал: доброго и злого. Так возникает тема «демона» в стихотворениях «Когда исчезнет омрачение» и «В дни безграничных увлечений». «Чадный, мертвящий» демон заслоняет луч «всесоаряющего дня», мешает поднять «крылья духа», но вера в идеал «соразмерностей прекрасных» побеждает «превратного гения» — демона.

Сила диалектики является особенностью поздней, медитативной лирики Баратынского.

«Необыкновенную силу диалектики» Баратынского Пушкин отмечает в связи с оценкой его «мастерских и образцовых» эпиграмм.

Пушкин пишет: «Эпиграмма, определенная законодателем французской поэтики: «Un bon mot de deux rimes orné»¹, скоро стареет и, живее действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет всю свою силу при повторении.— Напротив, в эпиграмме Баратынского сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический и развивается свободней, сильнее. Улыбнувшись ей, как острому слову, мы с наслаждением перечитываем ее как произведение искусства». Острому, стареющему слову традиционной эпиграммы Пушкин противопоставляет свособразную эпиграмму Баратынского. Сатирическая мысль в его эпиграмме сильна художественной выдумкой, сюжетом. Говоря о сказочном и драматическом «обороте», который принимает сатирическая мысль у Баратынского, Пушкин имеет в виду, очевидно, такие эпиграммы, как «Идиллик новый на искус» и «Писачка в Фебов двор явился», с их шуточно-мифологическим сюжетом, и маленькие сценки с быстро развивающимся диалогом в таких эпиграммах, как: «Он вам знаком, скажите, кетати», «Поверьте мне, Фиглярин-моралист». В поздних эпиграммах Баратынского появляется очень любопытное соединение трагического и сатирического начала («Коттерии», «Спасибо злобе хлопотливой» и «Филида с каждою зимою»). Особый интерес представляет в этом смысле стихотворение «Когда твой голос, о повт», где мысль раскрывается элегически, а завершается острыми сатирическими строками, придающими всему произведению характер

¹ Острота, украшенная двумя рифмами (цитата из Буало).

эпиграммы. Эпиграмма Баратынского — не только стихотворение на случай, — она является одной из форм поэтического воплощения «метафизической мысли». Образная афористичность его эпиграмм иногда приближает их к античным.

В своих высказываниях о Баратынском Пушкин уделил большое место поэмам. При этом он подчеркнул близость элегий Баратынского и его «повестей». Для Пушкина поэмы Баратынского — те же любовные элегии. Он пишет об «Эде»: «С какою глубиною чувства развита в ней женская любовь». Приведя элегический отрывок из поэмы, Пушкин заключает: «Какая роскошная черта, как весь отрывок исполнен неги». Об «элегической неге» пишет Пушкин и в связи с поэмой «Бал».

Психологизм, присущий любовным элегиям Баратынского, сказался в его поэмах с особой отчетливостью. Именно на эту сторону поэм обратил внимание Пушкин. Он писал о повести «Бал»: «Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красок и прелести необыкновенной». «Нина исключительно занимает нас. Характер ее новый, развит *son amore*¹, широко и с удивительным искусством». «Мы чувствуем, что он (поэт) любит свою героиню. — Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе павшего, но еще очаровательного создания». Оригинальные особенности поэм Баратынского, по мнению Пушкина, были таковы, что «в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками».

В предисловии к поэме «Эда» Баратынский раскрыл свой творческий замысел. Он сообщил, что не осмеливается вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана», то есть не хочет идти по проторенным путям романтической поэмы, а пойдет «своей дорогой». Вместо «необыкновенного», «занимательного» сюжета романтической поэмы, он избрал сюжет «простой», «ход обыкновенный» и много «мелочных подробностей». Это была своего рода декларация реализма. Несколько позднее, в стихотворении «Подражателям» (1829), Баратынский говорит о жизненной правде поэзии, о том, что поэтические создания являются в результате опыта и борьбы:

Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душесмутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.

¹ С увлечением.

Страдание и человеческие пороки привлекают особенно пристальное внимание Баратынского. Он отстаивает право поэта на изображение «неправедных изгибов» человеческого сознания:

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.

«Сияние и тьма», «неправедный изгиб сердец» — являются темами его повестей «Бал» и «Наложница». В предисловии к этой поэме, само название которой вызвало нападки критики, Баратынский возражает против одноцветного изображения порока или добродетели. Истина требует от художника подробного раскрытия характера.

Пушкин в своей оценке повести «Бал» подчеркивает новизну характера Нины. Баратынский *первый ввел в русскую литературу образ женщины, бросившей вызов свету, его моральным устоям. «Болезненное соучастие» читателя, о котором пишет Пушкин, явилось результатом сложного, реалистического изображения этого характера.

Критик И. Киреевский в своей статье «Обозрение русской литературы на 1831 г.» сравнил творчество Баратынского с живописью фламандского художника Мириса. Миниатюрные полотна Мириса отличались тщательной отделкой и обилием мельчайших подробностей. Пушкин нашел сравнение Киреевского «удивительно ярким и точным» и сам назвал элегии и поэмы Баратынского «рядом прелестных миниатюров», отличающихся «прелестью отделки, отчетливостью в мелочах, точностью и верностью оттенков». Подробности, отчетливость в мелочах являлись особенностью новой, натуралистической школы романтиков. В поэмах Баратынского впервые появились приемы этой школы. Задачи Баратынского в области поэмы прямо соприкасались с проблемой реалистического повествования, решенной на Западе Бальзаком. Шевырев писал о повестях Бальзака, что они «род литературного дагерротипа, в котором всякая подробность отмечена ярко и для которой камер-обскурою служит психологическое познание нравов французских и сердца человеческого»¹. Слова эти нетрудно сопоставить с замечанием Киреевского о психологических миниатюрах Баратынского. В кругу московских литераторов отмечали близость между аналитической поэзией Баратынского и творчеством Бальзака. Сам Баратынский писал, что задумал «романы в жанре Бальзака»². В «Очерках русской

¹ «Визит к Бальзаку», «Москвитянин», 1841, т. I.

² Письмо к матери, 1842 год.

литературы» (1862) Кенига Баратынский прямо назван «русским Бальзаком в стихах».

В отзывах Пушкина, наряду с характеристикой того нового, что внес Баратынский в русскую поэму, содержалась и отрицательная оценка его поэм, выраженная очень мягко и сдержанно. Лучшие, оригинальные места каждой поэмы Баратынского Пушкин воспринимал как ряд «миниатюр», не соединенных в целое «кистью резкой и широкой». Поэтому в своей статье о Баратынском он почти ничего не сказал о развитии повествования в поэмах и останавливался лишь на отдельных отрывках и героях.

Несмотря на то, что Баратынский всячески отмежевывался в поэмах от Пушкина и Байрона, ему не удалось вполне уйти от их влияния. Поэмы его написаны по образцу романтических, с лирическим, прерывистым ходом действия и т. п. И реалистический метод изображения характеров, отмеченный Пушкиным как оригинальное свойство поэм Баратынского, находится как бы в противоречии с романтическим повествованием.

В очерке творчества Баратынского Пушкин не только отметил «метафизическую» сущность его, но и подчеркнул, что в нем мысль соединена с «глубиной чувства» и мастерством художника.

Такое соединение поэзии с «метафизикой» характеризует творческий метод Баратынского. Отвлеченная мысль принимает у него яркие, прихотливые образы. Примечательно в этом смысле стихотворение «Оснь». Здесь сложный, логически построенный ход мысли, выраженный тезисами, требующими напряженного внимания, перемещается сильными и неожиданными образами, благодаря которым эту одическую элегию Баратынского можно в полном смысле слова назвать симфонией осени.

Пушкин высоко ставит язык и стиль поэзии Баратынского. Он пишет, что «гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувствами». В другом месте Пушкин снова подчеркивает «точность выражения», «ясность и стройность» стиля Баратынского, отсутствие «преувеличений модной поэзии». Пушкин оспаривает критику, осуждавшую Баратынского за «суеверие и холод» французского классицизма, которому он якобы был привержен, и ставит в заслугу Баратынскому то, что он идет иным путем, чем эпигоны-романтики с их склонностью к пышным описаниям и патетике (Подолинский и др.). В классической выучке Баратынского Пушкин видит положительные свойства его поэтического стиля. Из этой строгой стройности вырастает та «правильность» в изложении мысли, которую отмечает Пушкин. Она дает Баратынскому возможность свободно оперировать философскими построениями в пределах небольших элегий или эпиграмм.

Свою философскую мысль Баратынский выражает то родом антологических маленьких стихотворений («Ахилл», «Алкивиад»), то сказкой («Бесенок»), то торжественной одической элегией («Смерть»). В зависимости от этого меняется и язык.

Поздние философские элегии Баратынского («Осень», «Последний поэт») написаны в приподнятом, торжественно-ораторском стиле, с усложненной фразой:

Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь,— и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоя гордыней задушен.

Язык поздних произведений Баратынского полон славянизмами (подъемлетя, зеркало, во благостыне), сложными эпитетами (златочешуйчатые воды, душмутительный поэт и т. д.). Но торжественный строй речи и самые славянизмы применены в творчестве Баратынского совсем иначе, чем они применялись в одической, высокой поэзии XVIII века. Сложная, приподнятая фраза иногда неожиданно пресечена, как бы оборвана. В поисках предельной сжатости выражения Баратынский очень свободно обращается с подчинением и согласованием в предложении и т. п. Примером такой свободы могут служить первые четыре строки стихотворения «Благословен святое возвестивший».

Для реалистического изображения характера, для передачи сложных движений человеческой психики Баратынский находит особый тон, как говорит Пушкин,— «то страстный, то шуточный». В отзыве о повести «Бал» Пушкин пишет, что для изображения характера Нины «поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики».

Поэма начинается передачей светской болтовни, потоком разрозненных фраз, пустых замечаний:

...«Домой усхала она!
Вдруг стало дурно ей». Ужели?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?— Бог весть,
Мигрень, конечно!.. в сторах шесть...

Язык сатирика Баратынский быстро сменяет языком элегика, расточая всю «элегическую негу» для описания своей героини. В конце поэмы голос правды, народной мудрости врывается в тра-

гическую фантазмагорию страсти, и Баратынский находит для нянюшки княгини Нины слова подлинно народной речи:

Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно:
Ну право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

Критика конца 20-х годов последовательно обвиняла Баратынского в легковесности, затем в приверженности устаревшим формам классицизма и, наконец, в эгоистической замкнутости его поэзии. Пушкин последовательно возражал на эти обвинения в своей статье о Баратынском. Оценка диалектики и «метафизичности» мышления Баратынского являлась прямым возражением тем, кто видел в его поэзии эгоистическую ограниченность, безыдейность.

Двадцатые годы, период начала и расцвета творческой деятельности Баратынского, связаны с великими ожиданиями. Судьба Баратынского как поэта казалась неразделимой с будущим России, к которому стремились декабристы, хотя в поэзии его гражданская, политическая тема представлена слабо (эпиграмма «Отчизны враг», послание «Давыдову»). Сознание грядущих бурь, вера в их обновляющую силу выражены Баратынским в стихотворении 1824 года «Буря»:

Иль вечным будет заточенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?..
.
Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

Баратынский тяжело пережил разгром декабристов. Постепенно осознавал он свое одиночество, утрату «живой веры»¹:

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других².

Годы «безверия» для поэта являются годами тяжелых раздумий, разочарований и внутренней борьбы. Но Баратынский надеялся, что жизнеутверждающая вера вернется к нему:

Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой³.

¹ Из письма И. Киреевскому, 1832 г.

² «Стансы» («Судьбой наложенные цепи»).

³ Набросок «Вот верный список впечатлений».

Усадьба, расположенная «на покате двух холмов», была в духе загородных дворцов павловского времени. Тут были и античные колонны, и средневековая замысловатость, и «дикость» природы. Сложное сплетение дорожек в парке вело к таинственным маленьким руинам, «прыгучим водам» каскада, мостику, перекинутому через бурно бегущий ручей, к «величественному», «тяжело-каменному» гроту. Секрет этого величия заключался в том, что оно было почти игрушечное. Дом был невелик, парк, его окружавший, казался огромным лишь детской фантазии. Для нее в Маре было всё, чтобы населить этот мир образами героев разбойничьих и рыцарских романов. Из дома в парк выходил даже потайной подземный ход. Маленький Баратынский рос в этом замысловатом мирке, предоставлявшем обильную пищу его пылкому воображению.

Отец Баратынского был человек простодушный и мягкий. Дома он во всем уступал своей жене, женщине энергичной и нервной. Александра Федоровна сосредоточила всю свою любовь на детях, в особенности на старшем — Евгении. Ему стремилась она передать свою любовь к поэзии, свою страсть к чтению романов. Но деспотическая привязанность матери подчас тяготила Баратынского. Впоследствии он писал: «С самого моего детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив»¹. С малых лет он привык вглядываться в мир чувств, анализировать свои поступки и рассуждать. Баратынский не получил систематического образования и воспитания. Читать он начал рано и читал бесконтрольно и беспорядочно. К нему был приставлен гувернер, дядька-итальянец, Джьячинто Боргезе². Боргезе покинул свой «нагорный солнечный» Неаполь, чтобы пуститься в какое-то заманчивое торговое предприятие. Потерпев крах, он вынужден был искать приюта и работы на чужбине. Джьячинто рассказывал своему воспитаннику о «лучезарной» Италии, о древнем Риме, Греции и его героях. Эти рассказы отразились в одном из самых ранних произведений Баратынского — «Отрывках из поэмы «Воспоминания»:

С каким волнением внимал я с юных дней
Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида...
Я персов поражал с дружиной Леонида;
С отцом Виргинии отмщением пылал,
Казалось, грудь мою пронзал его кинжал...

Маленький Баратынский лелеял мечту о рыцарских подвигах, об опасной, бурной жизни.

¹ Письмо к И. В. Путяте, 1826 год.

² См. послание «Дядьке-итальянцу».

Отданный в 1813 году в пажеский корпус, Баратынский писал матери: «Позвольте повторить свою просьбу относительно морской службы. Я вас умоляю, маменька, не противиться моей склонности. Я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, чтобы меня занимало,— без этого я скучаю. Представьте, моя дорогая, меня на палубе, среди разъяренного моря, бешеную бурю, подвластную мне, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, произведению человеческого гения, повелевающего стихиями...» Но Баратынского оставили в корпусе, и он удивлял начальство то исключительным благонаравием, то взрывами бурного протеста.

Пажеский корпус в те годы не был образцовым учебным заведением. Занятия там велись вяло, нехватало серьезных, знающих преподавателей. Было много казенщины и мало настоящей дисциплины. Кадеты часто оставались без надзора. Баратынский по-прежнему увлекался чтением книг о разбойниках «во всех возможных лесах и подземельях». Книги эти «разгорячали» его воображение¹, и он задумал организовать «общество мстителей». Врагами были несправедливые корпусные начальники. Баратынский оказался чуть не во главе самых буйных кадетов, любивших повеселиться, погулять и «попировать». Начальство узнало об одном проступке этой компании, и мальчики были жестоко наказаны. Баратынского уволили из корпуса без права поступить куда-либо на службу иначе, как рядовым в армию. Таково было распоряжение царя, и он отклонял все ходатайства о смягчении наказания.

Юношу взял на свое попечение его влиятельный дядя, вице-адмирал в отставке, Богдан Андреевич Баратынский. Из его родового имения Подвойское, в Смоленской губернии, Баратынский писал матери: «Мы посетили наших предков, храбрых славных витязей, погибших на войне, защищая свой очаг от Литвы»².

В Подвойском Баратынский был снова предоставлен себе, никто им особенно не занимался. В доме была обширная библиотека, и юноша обратился к чтению. Он искал ответов на сложные вопросы бытия, читая Вольтера, Руссо и французских моралистов типа Вовнарга. В письмах к матери мы встречаем первые философские этюды Баратынского. Он пытается изобразить психологический автопортрет и пишет: «Так человек среди всего, что может составить его счастье, носит в себе скрытый яд, который его подтачивает и отнимает у него всякую способность чувствовать удовольствие.

¹ Письмо к Жуковскому от декабря 1823 года.

² Письмо к матери, 1816 год.

Грусть, скуку и печаль носят он в себе среди шумной радости, я хорошо знаю этого человека»¹.

Еще из корпуса Баратынский писал матери, что «более всего любит поэзию» и что хотел бы «стать автором». Первые элегические опыты Баратынского относятся ко времени его жизни в Подвойском (1816—1818 гг.). Одним из ранних произведений Баратынского являются, повидимому, «Отрывки из поэмы «Воспоминания» (вольное переложение из поэмы Лэгуве). Автор переносится мечтой в далекое героическое прошлое Европы.

В 1818 году Баратынский уехал в Петербург. Он должен был поступить на военную службу рядовым.

1818 год был годом учреждения «Союза благоденствия». Тайная организация стремилась к широкому распространению своих идей. Создавались «вольные» филиалы. Дух «вольных» обществ царил и в кружках молодых литераторов, и на офицерских пиршествах, и в некоторых салонах. Вопросы литературные слились с политическими. Писательские объединения уже труднее было характеризовать единством литературных позиций. Более реальным признаком являлось политическое единомыслие.

К концу 1818 года два основных литературных лагеря — «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас» — уже не существовали. Однако в среде писателей молодого поколения сохранялись следы двух влияний: карамзинского европеизма и «беседистского» славянофильства. Оба влияния сожительствовали в среде молодежи, связанной единством общественных политических настроений. Именно такого рода объединение представлял собой так называемый «Союз поэтов»², который состоял из бывших лицейцев. Молодой Пушкин, Кюхельбекер, Дельвиг были поэтами различных путей, и хотя все они начинали как романтики, но романтики различных направлений. Пушкину был чужд несколько выпященный, мистический романтизм Кюхельбекера. Дельвиг стоял в стороне от высокой героической темы, погруженный в сладостные созвучия, воскрешающие античную древность. Между тем это свободное содружество поэтов казалось наиболее сильным и опасным для литературных консерваторов и политических реакционеров.

Именно к «Союзу поэтов», передовому литературному содружеству, прикнюкал начинающий Баратынский. Через корпусных друзей, братьев Кренициных, друживших с Бестужевым, Баратынский вошел в круг Пушкина. Дельвиг, с которым особенно сблизился Баратын-

¹ Французское письмо к матери, 1816 год.

² Это наименование литераторов пушкинского круга возникло из стихотворения Кюхельбекера «Поэтам»:

Так не умрет и наш союз
Свободный, радостный и гордый.

ский, был таким, каким представляли себе поэтов: непрактичным, ничего не смыслящим в жизни, погруженным в мечты. Поэтов связала длительная, настоящая дружба. Множество посланий друг к другу остались памятником приятельских отношений Дельвига и Баратынского. Жил Дельвиг в маленькой квартирке в Семеновском полку (теперь Рузовская улица). Сюда к нему и пришел впервые Баратынский со своими элгиями и вскоре поселился с ним вместе.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельзигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалося небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!).
Шли и твердили, шутя: какое в россиянах чувство¹.

Дельвиг — поэт-экспериментатор, знаток классической поэзии, любитель теоретических споров — был в подлинном смысле литературным учителем Баратынского. Большую роль в этом смысле сыграл и Гнедич. Баратынский бывал у него, в его тихой комнате в здании Публичной библиотеки, слушал размеренное, певучее и торжественное чтение гекзаметров «Илиады» (см. послание к Гнедичу).

Баратынский посещал и литературные вечера Плетнева, был представлен Карамзину, Жуковскому, навещал дом братьев Тургеневых. Однако постоянный круг его и Дельвига был гораздо более демократическим. В непритязательной дружеской обстановке, описанной в поэме «Пир», возникали те вольнодумные споры, которые предшествовали событиям на Сенатской площади. Здесь решались многие политические и литературные вопросы, коллективно творились эпиграммы, пародии, песни. В такой обстановке Рылеев и Бестужев, при участии Баратынского, написали песенку для широкого распространения в народе:

Ах, скучно мне
И в родной стороне
.
Я свободы дочь,
Я со трона прочь
Императоров...
и т. д.

Баратынский служил рядовым в лейб-гвардии Егерском полку.

¹ Написано в 1819 году совместно Дельвигом и Баратынским.

С кругом оппозиционно настроенной молодежи его сближало особое положение поэта, отбывающего солдатчину как наказание.

Тот же кружок оппозиционной молодежи бывал постоянно в доме Софьи Дмитриевны Пономаревой. Жена богатого откупщика, она жила открыто, хотя и не принадлежала к так называемому свету. Она обладала широкими интересами, начитанностью, веселым остроумием, — одним словом, всеми качествами хозяйки салона. Баратынский пережил довольно сильное увлечение Пономаревой, оставившее значительный след в его творчестве (см. стихотворения «О свосравная София», «Мне с упоением заметным», «К жестокой» и др.).

Молодая группа «Союза поэтов» вытеснила из ее дома «стариков», возглавляемых издателем «Благонамеренного» Измайловым и его компанией (см. эпиграмму «Дамон, ты начал, продолжай»). По свидетельству современников, в салоне Пономаревой можно было услышать ученые рассуждения о гекзаметрах наряду с веселыми играми и шутками. Здесь же происходили политические споры.

В начале января 1820 года Баратынский был произведен в унтер-офицеры и назначен в пехотный Нейшлотский полк в Финляндии. Полк должен был охранять береговую линию Финского залива. Он был расквартирован в Кюмени. Эта крепость, заложенная в 1793 году, в устье реки Кюмень, на самой границе тогдашних российских владений, была окружена скалами и лесами. Река со множеством островков-шхер и порогов отличалась стремительным течением. В двух километрах от крепости грохотал водопад Хэгфорс (см. стих. «Водопад»).

Жил Баратынский в семье полковника Лутковского, героя Отечественной войны 1812 года (см. послание «Лутковскому»). Он был добрым, снисходительным начальником и понимал трудность положения Баратынского. Большую поддержку оказывал ему также командир роты Коншин. Коншин был связан с Рылеевым и сам писал стихи. Он очень ценил поэзию Баратынского и подражал ему.

Во время одного из военных смотров, в 1824 году, Баратынский познакомился с Н. В. Путятой, адъютантом военного генерал-губернатора Финляндии Закревского. Знакомство перешло в дружбу, укрепившуюся в период пребывания Баратынского в Гельсингфорсе. Благодаря его ходатайству и просьбе Дениса Давыдова, соратника генерала Закревского, Баратынский был причислен к штабу корпуса. Жизнь его в Гельсингфорсе резко отличалась от кюменской. Баратынский был принят в салоне жены генерала Закревского, знаменитой красавицы. Графена Федоровна, по свиде-

тельству писательницы Ростопчиной, «была весьма оригинальной личностью, выведенной во многих романах того времени. Она давала обильную пищу злословию». «Очень умная, без предрассудков, несколько не считавшаяся с условными требованиями морали и высшности, она обладала способностью искренней привязанности».

Баратынский писал Путяте: «Хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия»¹. Он не скрывал, что она являлась героиней его стихотворной повести «Бал». Ей посвящен был ряд стихотворений, из которых особенно выразителен своеобразный портрет: «Как много ты в немного дней...» В одном из своих писем Н. Путяте Баратынский писал, что Закревская «напоминает ему гробницу под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями — вид очаровательный, воздух благоуханный, но гробница — все гробница, и вместе с негою печаль вливается в душу»².

Баратынскому удалось за годы солдатчины не потерять связи с петербургской литературной средой. Петербург был недалеко, и поэт часто получал отпуска. Вольное общество любителей российской словесности нередко видело Баратынского на своих собраниях. В его отсутствие Гнедич читал в Обществе его новые стихи, печатавшиеся затем в «Соревнователе» и других журналах того времени.

К концу пребывания в Финляндии литературная репутация Баратынского вполне сложилась. В 1824 году был уже готов в основном сборник стихотворений, который удалось издать лишь в 1827 году. Этим сборником за Баратынским утверждалась репутация элегика. В марте 1824 года «Литературные листки» объявили о готовящемся выходе сборника стихотворений Баратынского. Там сообщалось, что «К. Ф. Рылеев, с позволения автора, вознамерился издать его сочинения, и это будет истинный подарок для просвещенной публики». Рукопись была приготовлена к печати, но арест издателей — Рылсена и Бестужева — помешал ее выходу в свет.

В 1825 году, осенью, Баратынский в результате усиленных хлопот Жуковского и А. Тургенева получил офицерский чин. Поэт подал в отставку и уехал в Москву, где в то время жила его мать.

Литературная среда Москвы показалась Баратынскому чопорной, чуждой. Впоследствии он сближался с некоторыми из московских литераторов, но вскоре и расходился, обнаружив, что литературная и идейная близость была мнимой. Предостережение Дельвига, который не советовал ему оставаться в Москве, имело свои основания. Дельвиг понимал, насколько для Баратынского важна

¹ Письмо, 1825 г.

² Письмо к Н. В. Путяте, 1825 год.

среда, связь с ним и Пушкиным. Тем не менее Баратынский остался в Москве. В июне 1826 года он женился на москвичке, дочери генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта.

Анастасия Львовна Баратынская была женщиной умная. Любящая жена, она принесла мужу и материальное благополучие. Брак являлся для Баратынского «тихой пристанью». Он писал Н. Путьяте: «Я живу потихоньку, как и следует женатому человеку, но очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья: из действующего лица сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моем углу, иногда посматриваю, какова погода в свете»¹.

Но вскоре эта тишина стала казаться поэту зловещим предвестником смерти, потерей живого мира.

Новый, московский, период жизни Баратынского ознаменован выпуском в свет его стихотворной повести «Эда» (1826), сборника стихотворений (1827) и поэмы «Бал» (1828), вышедшей под одной обложкой с «Графом Нулиным» Пушкина. В 1829—1830 годах Баратынский работал над новой поэмой — «Наложница» и писал драму, которая не была напечатана и ныне утрачена.

В начале пребывания своего в Москве Баратынский вновь встретился с Пушкиным. Эта встреча представляла большое значение для Баратынского. Чем был в его глазах Пушкин, лучше всего видно из следующих строк письма Баратынского к нему: «Жажду иметь понятие о твоём Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на какую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление» (1826 г.).

К тому же времени относится и встреча Баратынского с Мицкевичем. Два стихотворения — «Не бойся едких осуждений...» и «Не подражай, своеобразен гений...» — свидетельствуют об отношении Баратынского к польскому поэту. Мицкевич — «наставник и пророк», то есть поэт-вития, который для Баратынского олицетворял тот идеал народного поэта, по которому тосковал он сам (см. стихотворение «Рифма»).

Хотя судьба Баратынского и была связана теперь с московскими журналами, но настоящей близости у него не было ни с «Московским вестником», ни с «Московским наблюдателем». Единственным журналом, казавшимся идейно близким Баратынскому,

¹ Письмо Н. В. Путьяте, лето 1826 года.

был «Европеец». Издателем журнала являлся критик и публицист Иван Киреевский, тогда еще далекий от славянофильских идей. В конце 20-х — начале 30-х годов, в условиях борьбы реакционных литераторов с писателями, объединившимися вокруг «Литературной газеты» Дельвига, во главе с Пушкиным, — Киреевский отчетливо стал на сторону группы Пушкина. Наиболее близким из друзей Пушкина для Киреевского оказался Баратынский с его философской лирикой и анализирующим мышлением. Киреевский сыграл в жизни Баратынского роль, почти равную роли Дельвига. Дельвиг помог Баратынскому в развитии его поэтического мастерства, культуры слова, — Киреевский помог ему углубить «метафизическое» и психологическое начало его поэзии. Из сохранившейся переписки выясняется, в какой мере Киреевский способствовал интересу Баратынского к вопросам философии, эстетики и к новейшей французской литературе — реалисту-психологу Бальзаку, политической лирике Барбье.

На страницах «Европейца» (1831—1832), издававшегося Киреевским, Баратынский поместил свою статью «Антикритика» — на отзыв Надеждина о его поэме «Наложница». Баратынский собирался деятельно сотрудничать в журнале в качестве критика-полемиста. Однако правительство увидело в «Европейце» журнал, слишком близкий взглядам декабристов, и запретило издание на третьем номере. Гибель «Европейца» для Баратынского была едва ли не большим ударом, чем для самого Киреевского.

В начале 30-х годов Баратынского постигла крупная литературная неудача. Его повесть «Наложница» вызвала резкую критику и ни в какой мере не была оценена как новое слово поэзии. К этому времени относятся первые проявления трагического мироощущения Баратынского (например, стихотворения «Недоносок», «Когда исчезнет омраченье...»). Поэт готов был признать себя побежденным:

Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла¹.

Но вновь просыпаются надежды, и вновь поднимаются «крылья духа».

В середине 30-х годов Баратынский сблизился с Чаадаевым и одним из крупнейших деятелей декабристских тайных обществ, М. Ф. Орловым. Орлов находился под надзором тайной полиции, но ни в чем не изменил своих убеждений, и «жажда деятельности его снедала», как говорил Герцен². Такая же жажда деятель-

¹ «Когда исчезнет омраченье...»

² «Былое и думы», ч. I, гл. VIII.

ности снедала и Чаадаева и Киреевского, несмотря на различие их позиций. Баратынскому, питомцу идей декабристов, атмосфера этого круга казалась наиболее близкой. Кошелев в «Записках», изданных впоследствии за границей, писал об этом кружке: «Беседы наши были самые оживленные; тут высказывались первые начатки борьбы между нарождающимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством». Широту интересов этого московского кружка отмечал и Вяземский, называя его «словесным факультетом».

В 1835 году Баратынский выпустил сборник своих стихотворений. Он состоял из перестасованных произведений старого сборника (1827) с прибавлением позднейших. Это смещение, скрывшее оригинальный рост поэта, не способствовало успеху сборника. Вслед за неудачей поэмы провал сборника был особенно чувствителен. Еще большей катастрофой для поэта явилась новая и окончательная потеря вновь обретенной литературной среды. Развал кружка начался с правительственных репрессий, постигших Чаадаева за его «Философические письма». В связи с этим не только был запрещен «Телескоп», как журнал, печатавший «письма», но и «Московский наблюдатель», связанный с Чаадаевым, оказался под особым контролем. Чаадаев, объявленный сумасшедшим и взятый под особый надзор, писал М. Орлову: «Не будем более надеяться ни на что...» «Какая необъятная глупость, в самом деле, надеяться, когда погружен в стоячее болото, где с каждым движением тонешь всё глубже и глубже». Баратынский выразил те же безнадежные настроения в элегии «Осень». Известие о дуэли и смерти Пушкина застало Баратынского в работе над этим стихотворением. Гибель Пушкина произвела на поэта «громовое впечатление». «Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую», — писал он Вяземскому. Мрачный колорит последних строк «Осени», несомненно, объясняется настроением, вызванным кончиной Пушкина.

Замкнутое одиночество Баратынского, в которое погрузился он в конце 30-х годов, выразилось в цикле стихотворений, составивших сборник «Сумерки» (1842), — «На что вы, дни!», «Были бури, непогоды...» и др. Между тем Баратынский все это время, и в особенности в конце 30-х и начале 40-х годов, вел жизнь счастливого семьянина. Хозяйственная деятельность Баратынского была связана с подмосковным имением Энгельгардтов Мураново — характерным уголком средней полосы России. Стихотворение Баратынского «Есть милая страна» очень точно воспроизводит пейзаж Муранова с его холмистыми лугами и перелесками. Баратынский построил в усадьбе дом по собственному плану, с зимним садом, башней и уютной, напоминающей дворцовую, апсидой

комнат. С жизнью в Муранове связано стихотворение «На посев леса» (1842).

Московская литературная среда окончательно потеряла интерес для Баратынского и вскоре стала ему глубоко чуждой. В конце 30-х годов обнаружилось полное расхождение с Киреевским и его группой, ставшей на отчетливо славянофильские позиции. Баратынский не вошел в редакцию «Москвитянина» и не сотрудничал в этом журнале. В 40-х годах он печатался в «Отечественных записках», где большую роль в это время играл Белинский, и в «Современнике», в котором Плетнев пытался продолжать дело Пушкина. Отношения с кругом Киреевского и Шевырева обострились какими-то интригами и сплетнями (см. «Коттерии» и «Спасибо злобе хлопотливой»). Не мог Баратынский сблизиться и с молодежью, требовавшей от литературы нового пафоса, той «живой веры», которая была утрачена им самим.

Это взаимное непонимание между ним и «новыми племенами» было очень тяжело для Баратынского. Горькое отчаяние его выразилось в стихотворении «На посев леса»:

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос:
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
Ответа нет! Отвергнул струны я...

В 1840 году Баратынский ездил в Петербург и виделся там с семьей Карамзина, Жуковским, Одоевским. Посадка эта не только освежила Баратынского и заставила вспомнить былое,— она воскресила в нем надежды на обновление. Там укрепилось в нем давнишнее желание познакомиться с современной Европой. В сентябре 1843 года поэт с семьей выехал из Петербурга в Италию через Германию и Францию. В Париже Баратынский встретился со многими писателями: Альфредом де Виньи, Мериме, Нодье. Он очень хотел «добраться до Жорж Запад», но знакомство не состоялось. Литературные и политические салоны Парижа разочаровали его в так называемом светском европейском обществе. Его поразила оторванность этого общества от нужд и интересов французского народа. Политическая борьба партий, раздоры между отдельными представителями их произвели на Баратынского тяжелое впечатление. Зато он близко сошелся с Н. Огаревым, Н. Сатиным, с политическим изгнанником Н. Тургеневым и др. Для всех этих людей Баратынский являлся живым представителем поколения декабристов. Он с увлечением вел беседы об отмене крепостного права и о судьбах России. Разговоры с новыми друзьями воз-

буждали у Баратынского стремление к новой деятельности. Об этом он писал в своих последних письмах Путяте. Россия ему уже больше не казалась «необитаемой»¹, он стремился к ней.

Но прежде он хотел достигнуть цели своего путешествия, побывать в Италии. Стихотворение «Пироскаф», написанное поэтом во время морского путешествия из Марселя в Неаполь, заканчивается строками, полными сладких надежд:

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.

Баратынский давно стремился увидеть знаменитые памятники древности. «Свободный, гордый Рим» для него являлся символом былого величия Европы, ее гражданской свободы. Ему хотелось прислушаться к живому «языку развалин»:

Но неужель для нас язык развалин нем?
Нет, пет, лишь понимать умеете их молчанье,
И новый мир для вас создаст воспоминанье².

Весной 1844 года Баратынский с семьей поселился в Неаполе. С этим городом связано последнее стихотворение Баратынского «Дядьке-итальянцу». Однако характерно, что стихотворение, посвященное Италии, всё проникнуто мыслью о России. Среди исторических воспоминаний, навесанных южным городом, у Баратынского возникают картины итальянского похода Суворова. Неаполь вызывает в его памяти рассказы старого Джьячинто:

Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел дивясь суворских солдат,
Входящих, вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогонов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город.

Баратынский тосковал по России, хотя и наслаждался морем и солнцем.

Последние строки стихотворения «Дядьке-итальянцу» обращены к России. Поэт вспоминает:

¹ Из письма И. Киреевскому, 1832 год.

² «Отрывки из поэмы «Воспоминания».

Наш бурнодышащий полночный Аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

Строки эти приобретают особое значение: они написаны незадолго до внезапной смерти Баратынского. Он умер в Неаполе 11 июля (н. с.) 1844 года. Тело его перевезли в Россию и похоронили на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

И. МЕДВЕДЕВА

I

ЭЛЕГИЯ

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу,
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Всё мнится, счастлив я ошибкой
И не к лицу веселье мне.

1819

ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным:
Подобно им да будет он
Во все години неизменным!
Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там, необъятными водами,
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зеркале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит
И только-что себе в убор
Алмазных звезд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен Скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветер торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!
И всё вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от брега к берегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.

Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышите голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи,
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, всё своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимасмый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

1820

РАЗЛУКА

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я всё имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

1820

УТЕШЕНИЕ

(Подражание Лафару)

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.
Всё обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой,
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердце мертвой тишиной!
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
О чем вздыхаешь, молвил он,
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? взгляни на Хлою!

15 марта 1820 года

ОТЪЕЗД

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где, дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рев, и всё питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой;
Где, позабыт молвой гремучей,
Но всё душой пиит,
Своею музою летучей
Он не был позабыт!
Теперь, для сладкого свиданья,
Спешу к стране родной;
В воображеньи край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни музам, ни себе.

ВОДОПАД.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвонком долины.

Я слышу: свищет Аквилон,
Качает елию скрипучей,
И с непогодю ревучей
Твой рев мятежный оглашен.

Зачем, с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею,
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвонком долины!

1821

РИМ

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немym развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим! тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги,
Где сильные твои? о родина мужей!

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

1821

РОДИНА

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пуускай другие чтут приличия законы;
Пуускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастья, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист и волн мятежный рев;
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пуускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пуускай кровавых битв любовник молодой
С волнением учится, губя часы златые,
Науке измерять окопы боевые:
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;

Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет некою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней Фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У берега насажу лесок уединенный,
И липу свежую и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой и мирную цевницу.

УНЫНИЕ

Рассеивает грусть пиров веселый шум.
Вчера, за чашей круговую,
Средь братьев полковых, в ней утопив свой ум,
Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал,
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили,
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.

Того не приобрести, что сердцем не дано,
Рок злобный к нам ревниво злобен:
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен!

1821

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

1821

ДЕЛИИ

Зачем, о Делия, сердца молодые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вокруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаясь насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет, и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь, как-нибудь,
Вновь приманить... но не приманишь!
В замену снов молодых тебе не сбрести
Покоя, поздних лет отрады,
Куда бы ни пошла, взроются на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волнение.

ПОЦЕЛУЙ

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

1822

ДОГАДКА

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит
И вздох случайный...
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покая;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

1822

ЭПИЛОГ

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренно забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;
Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыплением,
Я не хочу притворным исступлением
Обманывать ни юных дев, ни муз.

1823

ИСТИНА

О счастье с младенчества тоскую,
Всё счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья,
Мне первый опыт рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я дольний жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

„Светильник мой укажет путь ко счастью!
(Вещала) захочу,
И страстного отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный, разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой“.

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: „О гостя роковая!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Всех радостей земных!
Твой мир — увы! — могилы мир печальный,
И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть, и всё, что сердцу мило,
Забуть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети:
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти“.

ДВЕ ДОЛИ

Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разноречающей
С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
Летите: крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный;
Так! доживайте жизнь в тиши,
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов;

Так вы, согрев в душе желанья,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

1823

Л Е Т А

Душ холодных упованье,
Неприятный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

1823

РАЗМОЛВКА

Мне о любви твердила ты шутя,
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальной доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

1823

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутный,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так молодой певец
С дубравой сердцу драгоценной:

„Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
— Готовься, юноша несчастный!
Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит;
Уж он зияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,
Твой час последний прозвучит! —
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые
Минутной юности моей!
Покину всё, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблекший лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой,
Вались, вались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынную тропую,
Вдоль незабвенного ручья,

Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя:
Твой легкий шорох к чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!“

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто мать приходила...
Не приходила дева к ней!

1823

ПРИЗНАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви, кто знает? изберу я.
На брак обдуманый я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею,
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевым прихотям мы воли не дадим:

Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
 Не властны мы в самих себе,
 И, в молодые наши леты,
 Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условие,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные друзья,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б ни жил я, мне всё равно.
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире
И там на шаловливой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь: в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
У струй, где нежатся поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,

Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени,
Я навещу, о други, вас,—
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберётесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И оглясят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья:
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала:
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом,
Все истины известные гробам
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное создание,
О человек! уверься, наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища;
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

1824

ОПРАВДАНИЕ

Решительно, печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету,
И всем троим готовый, сгоряча,
Произнести по страстному обету,
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим, объемля жадной дланью
Их стройный стан, — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовью пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял:
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости молодой,
Из-за угла Пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.

Нет! более надменна, чем нежна,
Ты всё еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

1824

СТАНСЫ

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпикет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На всё угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

1824

К ***

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина плачешь ты,
И как русалка ты хохочешь!

1824—1825

УВЕРЕНЬЕ

Нет, обманула вас молва,
Попрежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

1824

БУРЯ

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пенясь, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной разлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонила огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Иль вечным будет заточенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,

Она отраднее гордыне человека!
 Как жаждал радостей младых
 Я на заре молодого века,
Так ныне, океан! я жажду бурь твоих.

Болнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
 Как зов давно-желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

ЛЮБОВЬ

Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви, огонь живительный!
Все говорят: но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов золотых цветущей младости,
Тебе открыл бы душу вновь.

1824

ФЕЯ

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум поработон,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

1824

ОНА

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластной
Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты, — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.

Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, — в пустынный угол твой,
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятия своего,
А между тем как волны на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты,
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуясь, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад:
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он:
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины

По прикоти им вымышленных крил;
Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода;
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов и в высоте небес
И в бездне вод сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещение!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На всё они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влечения,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им замснил другие побуждения,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в Эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крыльях своих;
Но по земле с трудом они ступали
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям загложнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладное бляенье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
Попрежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло;
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло:
Один туман над ней синяя вился
И жертвою очистительной дымился.

СМЕРТЬ

Смерть дочерью тьмы не назову я
И, раболепную мечтой
Грбовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косою.

О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое хранение Всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем, прохладным дуновеньем,
Смирять буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты на брега свои бегущий
Вспять возвращаешь океан.

Даешь пределы ты растению,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

СМЕРТЬ

Подражанье А. Шенье

Под бурею судеб, унылый, часто я
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее и молодость моя
И обещания в груди сокрытой музы, —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищущу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

1828

СТАНСЫ

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще ---
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, золотое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя,
И наблюдая восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны молодые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

* * *

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

1828

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Когда печалью вдохновенный
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто вековых проклятий жаден
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Побстигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружон,
И чтим земными племенами
Подобно мученику он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечта
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращённой,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

1829

* * *

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветер его коснется,
Он исчезнет без следов:
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

1829

МУЗА

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почитит небрежной похвалой.

1829

* * *

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упавших чертогов колонны!

1831

МОЙ ЭЛИЗИЙ

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

1831

* * *

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей,
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласие захотел.

1831

* * *

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра золотая!
Как звуки звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но всё проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

1831

* * *

Наслаждайтесь: всё проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: всё проходит!
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью, и печали,
На изменчивой земле,
Боги праведные дали
Одинакие криле.

* * *

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных берегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила,
Назначенным путем, неведомая сила
Влечет. Бродячий ветер неволен, и закон
Его летучему дыханью положон.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желанья со жребием своим,—
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? И не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

1832

* * *

Когда исчезнет омраченье!
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешение
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем
И крылья духа подыму
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Воотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

1832

* * *

Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа:
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой,
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умилением
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей:
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с ослабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним;
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим:
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

1832

* * *

Не растравляй моей души
Воспоминанием былого;
Уж я привык грустить в тиши,
Не знаю чувства я другого.
Во цвете самых пылких лет
Всё испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

1832

* * *

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

1832

* * *

О мысль! тебе удел цветка:
Сегодня манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил свежесть молодую
И чередой своей поблек,—
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

1832

* * *

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,—
Всегда уносимся мы думою своей,
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

.
.
.
.
.
.
.
.

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж роц своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
 Ответ на всё, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
 И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
 Воспоминанием живым

Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.

1832

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном всё земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Всё дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведен, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век,
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего,—
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах, сполна
Всё дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

1832

* * *

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Твоей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!

Еще деревья обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И, в яркой вышине
Незримый, жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит
Летает в небе с ней!

Зачем так радуется
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенья мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он дивный унесет!

1832

ЗАПУСТЕНИЕ

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного Мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень;
 Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов:
 Под очарованный твой кров
 Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли деревья
 И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые волнуясь шумели;
 С прохладой резко дышал
 В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
 А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел:
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
 Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишены хранительной преграды,
 Далече воды утекли,
 Их ложе поросло травой,
Приют хозяйственный в нем ульи обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною:
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот, попржнему, лесистым косогором,

Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет,
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет,
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной пролады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто безымянной неги жаден,
И своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоня слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной сени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу.

НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей молодой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольний мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит,
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Когда измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос:
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!

И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети!

1842

* * *

Люблю я вас, богини пенья!
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья,—
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу. Боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От музыки ласковой ко мне
И говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

1844

* * *

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,—
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою,—
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

1844

II

К ***

ПРИ ОТЪЕЗДЕ В АРМИЮ

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко-скачущей телеге,
От нас — увы! — далеко прочь,
О нас — увы! — не ссжалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском,
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удалцами удалцом!
О милый мой! согласен в том:
Завидно счастье такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам чрез меру важным;
Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть в битве шумной
Летающих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за н. . . след
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

1819

К КРЕНИЦИНУ

Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали.
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств и сладость упованья! —
 Всё холодный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
 Рассудок тверже и верней,
 Поступки, разговор скромнее.
Он осторожней стал, быть может, стал умнее,
Но, верно, счастьем теперь стократ бедней.
Не подражай ему! иди своей тропею,
Живи для радости, для дружбы, для любви.
 Цветок нашел -- скорей сорви!
 Цветы прелестны лишь весною!
Когда рассеянно, с унынием внимать
Я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участие,
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Все можно возратить, — мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
 Но быстро скрылись от очей.
Я легковерен был: надежда, наслажденья —
Меня с улыбкою манили в темну даль,
Найти я радость мнил — нашел одну печаль,
И, сердцу милое, исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? — Мой друг еще со мной!
Я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной,
 Пусть будет прочее мечтой!

ДЕЛЬВИГУ

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я Муз и Граций
Променял на вахт-парад;
Сыну милому Венеры,
Роцам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер война тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски,
Вместо Пинда, — на развод.

Вам, свободные пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль Камены, иль Хариты
В карауле навестят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,

Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливица ждет моя Лилета?"

Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулись заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще: любовию горят
Младые, свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
Забыв друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вокруг меня скалы суровы
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Прости, Поэт! судьбина вновь
Мне посох странника вручила;
Но к Музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!

Прости! бог весть, когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И кегу праздного досуга!

О милый мой! всё в дар тебе —
И грусть и сладость упования!
Молись невидимой судьбе:
Она приблизит час свиданья.

И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.

Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья? —
Пускай пред ней сольются *там*
Друзей согласные моленья!

18 января 1820 года

КОНШИНУ

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам,
Не испытав его, нельзя понять и счастья:

Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.

Одни ли радости отрадны и прелестны?

Одно ль веселье веселит?

Бездейственность души счастливецв тяготит;

Им силы жизни неизвестны.

Не нам завидовать ленивым чувствам их:

Что в дружбе ветреной, в любви однообразной

И в ощущениях слепых

Души рассеянной и праздной?

Счастливы мнимые, способны ль вы понять

Участья нежного сердечную услугу?

Способны ль чувствовать, как сладко поверять

Печаль души своей внимательному другу?

Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?

Но кто постигнут роком гневным,

Чью душу тяготит мучительный недуг,

Тот дорожит врачом душевным.

Что, что дает любовь веселым шалунам?

Забаву легкую, минутное забвенье;

В ней благо лучшее дано богами нам

И нужд живейших утоленья!

Как будет сладко, милый мой,

Поверить нежности чувствительной подруги,

Скажу ль? все раны, все недуги,

Всё расслабление души твоей больной;

Забыв и свет и рок суровый,

Желанья смутные в одно желанье слить

И на устах ее, в ее дыханьи пить

Целебный воздух жизни новой!

Хвала всевидящим богам!

Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,

Счастливы нас бедней, и праведные боги

Им дали чувственность, а чувство дали нам.

1820

КОНШИНУ

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещаний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век молодой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытись буйным наслажденьем,
Пресытись ласками Цирцей,
Шепчу я часто с умилением
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участие
Беспечно веровал бы я,
Случится ль ведро иль ненастье
На перепутьи бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?

Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей?..

1821

ДЕЛЬВИГУ

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое;
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой создание свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущениям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На брэнную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал — ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой:
Ты ввел меня в семейство добрых Муз;
Деля досуг меж ими и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил её? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забывшие фортуною слепой,
Мы, ей на зло, друг в друге всё имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
Попрежнему ль ко мне пребудут строги,
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней

Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой:
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Ещё` позволь желание одно
Мне произнестъ: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

1822

ГНЕДИЧУ,
КОТОРЫЙ СОВЕТОВАЛ СОЧИНИТЕЛЮ
ПИСАТЬ САТИРЫ

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов:
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирую восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И звуки легкие пастушеской свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовью к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Всё так; но кто владеть пером его достоин?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки,
За беспристрастие забавные поруки!

Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я утрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд наверно бѣзнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей,
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных, возвышенный поэт;
Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчицей привести,
Я благодарность их мечтал бы приобрести,
Но, право, смысла нет во слове: благодарность,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От дней Фелицыных оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспаривать царя,
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли?— „Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица“.
Так, лучшим подвигам людское возвращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унижить до себя;
Так, самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клеветает!

.
.

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благоправно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу: будь осиною;
Меж тем как странны мы! меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

Н. И. ГНЕДИЧУ

Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристип,
И дружбу нежную, и Русские Афины!
Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой,
Лишенье тяжко мне, в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу,
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно-отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты Музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют.
Живитель сердца — труд; искусства — наслажденья.

Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей было мукой;
Искусства низошли на помощь к ним тогда:
Уже отвыкнувших от грубого труда,
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастьем обязаны мы им.

Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,

Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечасно погрузон,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не вина
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее, и, не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими:
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободнее, и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,
Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью:
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы,
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы

И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушивался я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовью моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых,
Не заменяют мне людей, для сердца милых,
И часто грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам:
Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

ЛУТКОВСКОМУ

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой
Никак веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебя внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в весельи диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой, с победным кликом,
Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их:
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь: чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул:
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы молодые
Пришли толпой с высоких стен

Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы
Да возвратится невредим
Любезный воин с лотой битвы!
О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже чем другие
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех, и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним Указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму
И удовольствию, и счастью.
Свет пренебрегши, в добрый час,
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу,
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры!
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры:
Они лукавы, я слышал,
И, всё предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен
И часто, пасмурный душой,
За то я вами не доволен,
Что не доволен сам собой.

К ЖЕСТОКОЙ

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитесь вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне примерно нежной став,
Вы наслажденья лишены ли:
Дурачить пленников других
И строгой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не доводит вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

1824

К***

Мне с упоением заметным
 Глаза поднять на вас беда:
 Вы их встречаете всегда
 С лицом сердитым, неприветным.
 Я полон страстною тоской,
 Но нет! рассудка не забуду
 И на нескромный пламень мой
 Ответа требовать не буду.
 Не терпит бог молодых проказ,
 Ланит увядших, впалых глаз:
 Надежды были бы напрасны,
 И к вам не ими я влеком.
 Любуюсь вами, как цветком,
 И счастлив тем, что вы прекрасны.
 Когда я в очи вам гляжу,
 Предавшись нежному томленью,
 Слегка о прошлом я тужу,
 Но рад, что сердце нахожу.
 Еще способным к упоенью.
 Меж мудрецами был чуждак:
 „Я мыслю“, пишет он, „итак
 Я несомненно существую“.
 Нет! любишь ты, и потому
 Ты существуешь: я пойму
 Скорее истину такую.
 Огнем, похищенным с небес,
 Япетов сын (гласит преданье)
 Одушевил свое созданье,
 И наказал его Зевес
 Неумолимый, Прометей
 К скалам Кавказа приковал,
 Но сердце вран ему клевал;
 Но, дерзость жертвы разумея,
 Кто приговор не осуждал?

В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

1824

ДЕЛЬВИГУ

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
„Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивую забавой
Твои восторги служат ей“.
Не обнаружу я досады,
И пронизательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
„Ужель обманут я жестокой?
Или всё, всё в безумном сне
Безумно чудилось мне?
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:

Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...“

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой,
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: горюн неловкий!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую:
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?

БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастливым мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты,
И, часто наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не холодной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были неты;
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли всё как-то не по них.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей тебе сказать пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему Господь! — Но что же! все мараки
Ударилась потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделось чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
Как терпит публика безумие такое? —
Ты спросишь. Публике наскучило простое,

Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто Душеньку твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Вспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее, достойно наградили
И скромного его так лестно изумили,
Страницы Душеньки читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.

Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведывать бы мог Парнасскую управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логикимышленный приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? в пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кога и петуха,
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на бегу,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Всё под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут победить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность,
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья:
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зреее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца,
Прими, философ мой, как старого знакомца.

Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И, в славный год войны народной,
В народе славной бородой!

1825

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной дсы
Ей непонятым Божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Напернице души твоей
Дай диадиму и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и всюю.

1831

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее золотой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл: прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций:
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлечшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Имел я благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней:
Всех макарончиков тогда узнал я в ней,
Ментора моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии! для бурь, как ты свое;
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнью ее сливая жизнь свою,
Ее событиями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим.

В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет,
И скорбный взор ее минутно оживёт.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра;
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел дивясь суворовских солдатом,
Входящих, вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где, год спустя, тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный Кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революционных фраз.
Народ ему зажег приветственные плашки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес:
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему Корсиканца.

Что на твоём веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло при тебе — в преданье перешло.
В Альпийских молниях приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпитаграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил.
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,

Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей:
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых, и в зелени узорной,
Неувядаемый; амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и влачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов, и нег взлелеял Эпопею,
Где в мраке Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволнения,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы,
Приюты отдыха и Мария и Силлы;
И кто, бесчувственный среди твоих красот,
Не жаждал в их раю обрести навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И в сей Италии, где всё — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безыменный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно, —
Всё беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог! и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших выюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крыльях эфира!

О тайны душ! меж тем, как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет

По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала)---
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрывааемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! Безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

Неаполь, 1844



ЭПИГРАММА

Окогченная летунья,
Эпиграмма хохотунья,
Эпиграмма егоза,
Трется, вьется средь народа
И, завидит лишь уroda,
Разом вцепится в глаза.

1826

* * *

Дамон! ты начал — продолжай;
Кропай экспромты на досуге;
Возьмись за гений свой: пиши, черти, марай;
У пола нежного в бессменной будь услуге;
Наполни вздохами растерзанную грудь;
Ни вкусу не давай, ни разуму потачки,
И в награждение любимцем куклы будь,
Или соперником собачки.

1819

* *

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей, ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.

1819

* * *

В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

1821

* * * *

Везде бранит поэт Клеон
Мою хорошенькую Музу;
Всё обернуть умеет он
В бесславье нашему союзу.
Морочит добрых он людей,
А слыть красоточке моей
У них негодницей обидно.
Поэт Клеон смешной злодей;
Ему же после будет стыдно.

1822

* * *

Свои стишки Тоцев пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право не путем,
На голос лебедя мяучит.

1824

* * *

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов, самовластью,
Какой-то адскою любовью горя,
Он не знаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

1824

* * *

И ты поэт и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.

1824—1825

* * *

Войной журнальною бесчестит без причины

Он дарования свои.

Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов еще любил кулачные бои?

1825

ДОРОГА ЖИЗНИ

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

1825

* * *

Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются.
Уносят их Летийские струи:
На пальчиках чернила остаются.

1826

* * *

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
„Всё та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...“
Понятно нам твоё страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь гниют твои листы.

1826

* * *

„Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж
Я знаю свет,— держусь Христа и Беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам!“— Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честного человека!

1826

* * *

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья, и сказанья;
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
Срамец, срамец! — все шепчут, — вот известье!
— Эх, не тужи! уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

1826

НА НЕКРАСИВУЮ ВИНЬЕТКУ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ АВТОРА ЗА ПИСЬМЕН-
НЫМ СТОЛОМ, А ПОДЛЕ НЕГО ИСТИНУ

Он точно, он бесспорно,
Фиглярин журналист,
Марающий задорно
Свой оглашенный лист.
А это что за дура?
Ведь истина, ей-ей!
Давно ль его канура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьем наведена,
Занятиям мараки
Мешать пришла она.

1827

* * *

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житее другого.
Он всем превратно поражен
И всё навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

1827

* * *

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
„Как пишет он?“ — спросил у муз
Бог беспристрастный Геликона, —
„Никак негодный он поэт?“
— Нельзя сказать. — „С талантом?“ — Нет;
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло. —
„Я понял вас; в суде моем
Не озабочусь я нисколько:
Вперед ни слова мне о нем,
Из списков выключить -- и только“.

1827

* * *

Откуда взял Василий непотешный
Потешного Буянова? Хитрец
К лукавому прибег с мольбою грешной.
„Я твой, сказал: но будь родной отец,
Но помоги“. — Плодятся без усилья,
Горят, кипят зазорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадях чепухи.

1827

* * *

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретёт?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

1828

* * *

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью обозначишь
Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,
Епитимьей затейливой казнишь:
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.

1828

* * *

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? точный смысл народной поговорки.

1828

ДЕРЕВНЯ

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров;
Но признаюсь -- пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

1828

* * *

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски!

1829

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили:
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.

1829

* * *

Поверьте мне — Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом —
Не должно красть; кто на руку не чист,
Перед людьми грешит и перед Богом.
Не надобно в суде кривить душой,
Не хорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!
Ну, что ж? Бог с ним! всё это к правде близко,
А кажется, и ново для него.

1829

* * *

Хотя ты малой молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;
Приязни глупой с первым встречным
Ты горяча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен, --
Довольно дюжинной души.

1830 .

В восторженном невежестве своем
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нем,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищен!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою;
Голубчик мой! уверься, наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.

1830

* * *

„Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?“

— Затем, что он не дворянин.—

„Ага! нет действий без причин.

Но почему чужая слава

Его так бесит?“— Потому,

Что славы хочется ему,

А на нее Бог не дал права,

Что не хвалил его никто,

Что плоский автор он.— „Вот что!“

1830

* * *

Писачка в Фебов двор явился.
„Довольно глуп он!“ бог шепнул:
„Но самоучкой он учился,---
Пускай присядет; дайте стул“.
И сел он чванно. Нектар носят;
Его, как прочих, кушать просят;
И нахлебался тотчас он
И загорланил. Но раздался
Тут Фебов голос: „Как! зазнался?
Эй, Надоумко, выведь вон!“

1830

* * *

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала:
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалась глупо.
Беги за нею, модный свет,
Плеяйся девой идеальной,
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

1832

ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое брожение,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтесь, чтоб гости за столом,
Не менее Харит своим числом,
Числа Камен у вас не превышали.

1839

НА ***

В руках у этого педанта
Могильный заступ, не перо:
Журнального негоцианта
Как раз подроеет он бюро.
Он громогласный запевало,
Да запевало похорон...
Похоронил он два журнала
И третий похоронит он.

1840

* * *

На всё свой ход, на всё свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист, и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха непутем:
Салоны есть, — но этот смотрит детской,
А тот — увы! — глядит гошпиталем.

1841

КОТТЕРИИ

Братайтесь, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в пригоне,
Бездарные писцы хлопотуны!
Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья:
Аминь, аминь, вещал он вам, где трое
Вы будете, — не буду с вами я.

1842

* * *

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил Летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо, молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

1842

* * *

Когда твой голос, о Поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нестерпеливый рок уловит;

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет?

И тихий гроб твой посетит,
И над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадиллом.

1843

IV

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Страшно воеет, завывает
Ветр осенний;
По поднебесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.

О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!

„Не грусти!“ душа-девица
Мне сказала.

„За тебя молиться будет
Друг твой верный“.

Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.

Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Не видать в лицо мне счастья:
Жить на что мне?

Дай приют, земля сырая,
Расступися!

Он поет; никто не слышит
Слов печальных...

Их разносит, заглушает
Ветер бурный.

ЦВЕТОК

С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
„Кому отдам цветок?“

Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
„Душистый мой цветок“.

И говорил ей каждый встречный:
„Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок“.

Она в ответ: „Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок“.

Красою яркий день сияет:
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает:
У девушки цветок!

Идет. Усилада повстречала:
Он прелестью цветок.
„Ты мил!“, она ему сказала,
„Возьми же мой цветок!“

Он что же думе? Он спесиво:
„На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок“.

1821

АВРОРЕ ШЕРНВАЛЬ

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой, и порой
Мыслит с тихою тоской:
„Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?“

1824

ЗВЕЗДА

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? ранее встает,
Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна;
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

С нею в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

* * *

Простите, спору не попад
Я с вашей музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат:
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спору в том,
Был вместе с вами мой учитель.

1825

НАДПИСЬ

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем бывших страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

1825

ПЕСНЯ

Когда взойдет денница золотая,
Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
Цветущий мир,
И славит всё существованья сладость,
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальней
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость,
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.

А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Очарованье красоты
 В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
 К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
 Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
 Священной тишиной.

1826

НАЯДА

Есть грот: Наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняясь челом, венчанным осокой.

1826

К ***

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,

Прости: я громко негодую,
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

1827

* * *

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

1828

СТАРИК

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век молодой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни молодые,—
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.

1828

БЕСЕНОК

Слышал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали
Бывало беса призывали:
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шопот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей канурке, —
Махну рукой: по старине,
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне,
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведёт,
Живой водой веселье вспырскнет,
А горе мертвою зальет.
Когда, в задумчивом совете
С самим собой, из-за угла
Гляжу на свет и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен,
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он;
Или, в мгновение зеницы,

Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

В АЛЬБОМ

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечный
Равно туда, или сюда,
Несет надежду жизни вечной
И трепет страшного суда.
Но я, смиренно признаюсь,
Я не надеюсь, не страшуся;
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю:
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

1828

К Э. А. ВОЛКОНСКОЙ

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакий,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон,
Одушевленный, сладострастный,
Где в куцах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш capitoлий позабыть
Для capitoлия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

К. А. СВЕРБЕЕВОЙ

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

1829

ЛАЗУРНЫЕ ОЧИ

Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовью томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью?

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая:
За темной завесою
Душа ее кроется,
Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться.
Какой-то недобрый дух
Качал колыбель ее:
Оделася тьмой она,
Вспылала причудою,
Закралось в сердце к ней
Лукавство лукавого.

1831

МАДОНА

В Италии где-то, но в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом),

Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А всё-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея, на Бога роптала.

„Не плачь, не кручинься ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее. —

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!“

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом,
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит;
Дочь плачет и ропщет, старушка молчит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрынул, картиною вдруг пораженный.

„Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пьестров даю“.

— Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую.—

„Я двести даю, согласися продать“.

— Синьор, синьор! бедность грешно искушать.—

Упрямства не мог победить он в старушке:
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берёт
И с дочкой своею безбедно живёт.

Так, веру и гений в едино сливая,
Равно оправдала их дева святая.

* * *

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
 Мешает мне его волненье
 Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
 Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

1832

* * *

Своенравное прозвание
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которым выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полное любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно:
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здесьних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

1832

* * *

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я.
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

1832

* * *

Где сладкий шопот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и доли.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Всё цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воеет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лет?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой
И забываю
Я бури вой.

О, провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

1832

К. А. ТИМАШЕВОЙ

Вам всё дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

1832

КОЛЬЦО

С. Энгельгардт

Дитя мое, она сказала,
Возьмешь иль нет мое кольцо?
И головою покачала,
С участием глядя ей в лицо.

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое:
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:

Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо.

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

1833

ЗВЕЗДЫ

Мою звезду я знаю, знаю,
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал,
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет, не здесь, в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои,—
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!

1839

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роят волнистое лоно пучины,
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,
Чайке подобно, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море:
С берегом набережное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская:
Пеною здравья брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.

Средиземное море, 1844

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенья пошли —
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай!

1844

СУМЕРКИ

КНЯЗЮ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ
ВЯЗЕМСКОМУ

*Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия;
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.*

*Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где другу мира и свободы
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно шумный свет:
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу, что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?*

Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благодати молю;
От вас отвлекь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла:
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек;
Цветет Парнас; пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет:
Нежданный сын последних сил природы —
Возник поэт; идет он и поет.

Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету;
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет — увы! — он благодать страстей:
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подымется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убеждениям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордые главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада,
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... В очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо... голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И попрежнему блистает
Хладной роскошью свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

1835

* * *

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

1841

НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь, ответом ей,
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви, для вдохновенья.

1826—1842

П Р И М Е Т Ы

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой;
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу, волк,
Крутясь и подъявля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала:
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но чувство презрев, он доверил уму,
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

1839

* * *

Всегда и в пурпуре и злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных Граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

1840

* * *

Увы! Творец не первых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же?—непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил!

1842

НЕДОНОСОК

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабя.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце: радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко,
Пью счастливо воздух тонкий;
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянусь ли на землю:
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечный вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изымающий тоской,
Я мечусь в полях небесных
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас земных скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу, как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия;
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел горделиво задумчив, и, смехом/
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;
Девы, тайно любясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же и глух был, и слеп; он не в меди глядясь,
а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

1835

РОПОТ

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к
перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

1841

* * *

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

1842

БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Бурных оргий властелин:
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Всё твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй,
Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи,
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О, бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой:
Плодородней, благородней
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней,
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк,
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей,
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

1835

* * *

Были бури, непогоды,
Да молодые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Вольной песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоеется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый:

Но положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

1839

* * *

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Не даром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь, а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

1840

АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту,
И кипящего Ахилла
Бою древнему язила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал
И одной пятой своею
Невредим ты, если сю
На живую веру стал!

1841

* * *

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтуня старая, затем
Она, подъявля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

1838

* * *

Еще как патриарх не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложение!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменьи ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

* * *

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак:
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденье чувств твой ужас улыбнется.

О сын Фантазии! ты благодатных Фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей:
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою,
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.

1839

* * *

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему Пииту!
Малолетнюю Хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудью своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

1842

* * *

Что за звуки? мимоходом,
Ты поешь перед народом,
Старец нищии и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издываясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песни... Но искусство...
Старцев старее оно: -
Эти радости, печали,—
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горнем клире,
Звучен будет голос твой!

1841

* * *

Всё мысль, да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом
Мысль, острый луч! — бледнеет жизнь земная.

1840

СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет.

Покуда страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

1841

ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зеркале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вокруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубров
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои серебристые узоры:
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаясь, завоюет роща; дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,

И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов собирает:
Сметав в стога скошенный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих,
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
Под тяжелой ношею скрипящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова!
Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
Припас орадай много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага:
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,
Орадай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее собираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты;

Ты так же ли, как земледел, богат?
 И ты, как он, с надеждой сеял;
 И так, как он, о дальнем дне наград
 Сны позлащенные лелеял..
 Любишься же, гордишься восставшим им!
 Считаешь свои приобретения!..
 Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
 Тобой скопленные презренья,
 Язвительный, неотразимый стыд
 Души твоей обманов и обид!

Твой день взошел, и для тебя ясна!
 Вся дерзость юных легковерий;
 Испытана тобою глубина
 Людских безумств и лицемерий.
 Ты, некогда всех увлечений друг,
 Сочувствий пламенный искатель,
 Блистательных туманов царь — и вдруг
 Бесплодных дебрей созерцатель,
 Один с тоской, которой смертный стон
 Едва твоей гордыней задушен.

Но если бы негодованья крик,
 Но если б вопль тоски великой
 Из глубины сердечная возник
 Вполне торжественный и дикий,
 Костями бы среди своих забав
 Содроглась ветреная младость,
 Играющий младенец, зарыдав,
 Игрушку б выронил, и радость
 Покинула б чело его навек,
 И заживо б в нём умер человек!

Зови ж теперь на праздник честный мир!
 Спеши, хозяин тароватый!
 Проси, сажай гостей своих за пир

Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блестает он!.. Но вкус один во всех
И, как могила, людям страшен:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревозвращенье:
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум — бесполезный сердца трепет
Угасит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу клад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя неведаль,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным
И, бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой;

13

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем:
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посветишь в свою науку:

Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
И лес подьемлет говор шумный,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной:
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретаая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая:
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья:
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы години бывшей
Сравниются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

* * *

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб'
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

1839

РИФМА

Когда на играх олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских:
В нем вера полная в сочувствие жила.

Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.

Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца

И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну

Оратор восходил, и славословил он,
Или оплакивал народную фортуна,
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего

Вития властвовал народным произволом:

Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума!..

Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет!

Велика ль творческая дума?
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта

Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного берега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

1841

VI

П О Э М Ы

ПИРЫ

Друзья мои! я видел свет,
На всё взглянул я верным оком:
Душа полна была сует
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачен,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: всё в мире сон.
Не всё мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком;
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин:
Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами нужными ему
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных,
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов
Порой красавицы дурачат;
Иной храбрец, в отцовский дом
Явясь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом:

О бог стола, о добрый Ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей;
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться; но ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчаньи;
И каждый гость, вблизи стола,
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданьи,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюда,
Златых плодов, десерта груды...
Зачем удел мой слабый дар!
Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь,
В застольном деле все удалы,
И осушают не ленясь
Свои широкие бокалы:
Они веселье в сердце льют,

Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И начались чудеса:
Смешались быстро голоса;
Собранье глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковый,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Не мудрены пирушки наши,
Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени деревьев, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блески острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищались на нём
Мы не фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездащаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,

Рвёт пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли,
И средь восторженных затей
Певцы, пируя, восклицали:
— Слепая чернь, благоговей!

Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
— Что потакать мечте унылой, —
Кричали вы: — смелее пей!
Развеселись, товарищ милый,
Для нас живи, забудь о ней! —
Вдохнув, рассеянно послушный,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшие уста,
— Бог с ней, — невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь!
Ах, в ней и грусть — очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой:
И каждый с ропотом вздохнул
И брату руку протянул
И вдаль побрёл своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь бывшее пролетает,
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.

О если б, теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!

(Мечтать позволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
Дубравой темной осененный,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
И с ними шумно пировали...
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Дельви́г мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком,
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в доми́к мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,
Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынный обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели;
Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело,
Подобно утреннему сну,
Всё изменило, улетело!
Увы! на память нам придут

Те песни, за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей:
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет,
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! В безжизненные лета
Душа остывшая согрета
Их утешением живым.
Пускай навек исчезла младость,
Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш...

БАЛ

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.
Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных Харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд;
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.

В движеньи всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,

Меня слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою, с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шопотом полна:
„Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей“. Ужели?
— В кадрили весело вертаться,
Вдруг помертвела! — Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею? — Бог весть,
Мигрень, конечно!.. в сюрсах шесть.
— Что с ней, кузина? танцовали
Вы в ближней паре, видел я? —
„В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?“

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед её бесстыдных
И соблазнительных связей?
Но как влекла к себе всеильно
Её живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбаются умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых

Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из Харит?

Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленья слезы те:
Кто б не отёр их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Как на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшись вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена,
На грудь роскошную она
Звала счастливица молодого:
Он пересоздан был на миг

Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.
И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе холодной
Уж не приметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угождают полубоги:
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердце забвению
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала!
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура и Ниноны,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал,
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображеньем,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений

Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк,
Не знаю как, пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и реза,
И сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю что, в игре лица,
В движеньи каждом пришлеца,
К нему влекло тебя, о Нина!
С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею,
Ес смущал он много раз
Улыбкой опытной своею;
Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.

Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Чрез день, другой потом, они
Несходство в чувствах показали.

Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровый,
Унылый часто зрея он:
Пред ним летал мятежный соң;
Всегда рассеянный, судьбину,
Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.

Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,
Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар,
Животворило всё желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблестали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. „Что с тобою“,
Она сказала: „что твой взор
Всё полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне

Иль недоверчив? Подозренья
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня.
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной: земля велика!
Чужбина скроет нас легко,
И там, безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем:
Там солнце пышно, там луна
Восходит сладости полна;
Там выются лозы винограда,
Шумят лавровые леса.
Туда, туда! с тобой я рада
Забить родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен.
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых — довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!..“
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: „Безумный сон
Тебя увлек“, сказал Арсений:
„Невольный мрак души моей —
След прежних, жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь:

Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини".
День после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной,
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож:
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: „Как похож!“
Проснулась Нина. „Друг бесценный,
Пожо! Ужели! мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...“
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил холодный пот чело,
Непомертвелье блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел:
Слова сливались в лепетанье;
Мгновенье долгое прошло,
И наконец её страданье
Свободный голос обрело.

„Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностью?.. Нет!..
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старину,
Меж многих редкостей востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злоключенье
Меня при нем не устрасит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит“.

У Нины руку взял Арсений:
„Спокойна совесть у меня“,
Сказал, „но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?
Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Олинька была!
Ее мгновеньями иными
Ещё я вижу пред собой,
С очами темно-голубыми,
С темнокудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятого волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И руку Олиньки моей
Сжимая робкою рукою,
„Скажи“, шептал я иногда,
„Скажи, любим ли я тобою?“
И слышал сладостное да.

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шопот.
Я мук язвительных моих
Не снес: излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Её покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал прости всему; но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно, колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И, по желанью моему,
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края.
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать“.

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И всё в нем выразило муку,
И обессилена, томна,
Главой поникнула она.
„Что, что с тобою, друг бесценный!“
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустеснейный.
„Друг милый, что ты?“ — „Ничего“.

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной.
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомнения нет: его рука!

„Что медлить“, к ней писал Арсений,
„Открыться должно... небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней:
В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей“.

Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар её давно:
Не принимает, нездорова!
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижная, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери падают растворясь:

Муж, не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленьи
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: „С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты.
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомнись тебе пора.
Сегодня бал у князь-Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай:
Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай.

Ну что, поедешь ли?“—„Поеду“,
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. „Дело“, молвил князь,
„Прощай, спешу я в клуб к обеду“.
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить её умело?
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело её облет
И меж обильными косами,
Рукой искусной пропущён,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;

По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя,
Глядяся, мнит: „и это я,
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет:
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет“.

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
„Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...“
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилась на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко-блестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?

Иль лишним счастьем блистало
Лицо у Ольги молодой?
Чтоб ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальней,
Лениво споря с темнотою,
Перед иконою золотой
Лампада точит свет печальный.
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима
С недвижной думой на челе?

Дверь заскрипела: слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет неожиданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой:
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на неё,
Качает старой головою:
„Ты ль это, дитяtko мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,

Горюя бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да не умно:
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая:
Всечасно Вышнего Творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла Бога... да,
Не ходишь в церковь никогда:
Поверь, кто Господа оставит,
Того оставит и Господь,
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком:
Прости, дай ручку мне". Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула:
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула:
На нем поспешный смерти ход;
Глаза стоят и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих брэнности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;

Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами,—
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разность.

В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой,
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье:
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий Вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стихи.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.

1825—1828

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание отобраны наиболее характерные стихотворные произведения Баратынского. В первый отдел включены элегии и выросшая из этого жанра философская, психологическая лирика. Второй отдел составляют послания, третий — эпиграммы, четвертый — стихотворения на случай, альбомные записи и сюжетная лирика. В пятый отдел входят «Сумерки» — сборник поздних стихотворений Баратынского, который он рассматривал как единое целое. В шестом отделе помещены две поэмы — «Пиры» и «Вал». Внутри отделов сохранен хронологический порядок. В тех случаях, когда точные даты стихотворений неизвестны, они датируются по первому появлению в печати. Тексты даны в поздних редакциях, со всеми последними исправлениями автора.

Отъезд (стр. 34). Написано на отъезд из Финляндии в Петербург в декабре 1820 года. В марте 1821 года поэт вынужден был вернуться в Финляндию.

Родина (стр. 37). Стихотворение представляет собой традиционную элегию на тему о преимуществах сельской жизни. В стихотворении, однако, есть некоторые факты реальной биографии поэта.

«А ты, мой старый друг» — речь идет о дядьке-итальянце (см. стих. с этим заглавием) Джьячинто Боргезе, который в имении Баратынских Мара любил заниматься садоводством.

Эпилог (стр. 44). Написано в ответ на упреки друзей, ожидавших от Баратынского новых произведений.

Падение листьев (стр. 50). Вольный перевод популярной элегии Мильвуа «La Chute des feuilles».

Череп (стр. 56). Об этом произведении писал Пушкин в своем стихотворении «Череп» в связи со сценой с черепом в «Гамлете» Шекспира:

Или как Гамлет-Баратынский
Над ним задумчиво мечтай.

Как много ты в немного дней... (стр. 61). Адресовано Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879). Именем кающейся Магдалины Баратынский называл Закревскую в письмах к своему другу Путяте.

Буря (стр. 63). Стихотворение выражает настроения, созвучные декабристской молодежи 20-х годов. Написано в Гельсингфорсе осенью 1824 года, под впечатлением морских бурь в Финском заливе во время знаменитого петербургского наводнения.

«Но знай: красой далеких стран» и следующие — вероятно, реплика на слова Пушкина в стихотворении 1820 года «Погасло дневное светило»: «Лети, корабль, носи меня к пределам дальним».

Она (стр. 67). Повидимому, адресовано жене поэта, Анастасии Львовне Баратынской, в то время когда она была еще невестой.

Смерть (стр. 71). «Согласье прям его лия» — умиротворяя раздоры. Прям — дательный падеж множественного числа славянского слова *пря* (распря).

Смерть. Подражание А. Шенье (стр. 73). Вольное переложение элегии Шенье: «O nécessité dure! O pesant esclavage».

Стансы («Судьбой наложенные цепи»...) (стр. 74). Имеется в виду приезд Баратынского в Мару после долгого отсутствия, весной 1827 года, вместе с женой и ребенком.

«Я братьев знал» — речь идет о декабристах.

Мой Элизий (стр. 81). Стихотворение написано под впечатлением смерти Дельвига (14 января 1831 года).

Орфей — в античной мифологии певец, побывавший в царстве мертвых (Элизии).

Есть милая страна... (стр. 91). Посвящено Мурановской усадьбе (ныне Музей имени Тютчева близ Москвы), в которой Баратынский любил жить последние годы (см. вступительную статью).

«Она, которой нет», — сестра жены Баратынского, Наталья Львовна Энгельгардт, умершая от чахотки.

Запустение (стр. 97). «Пленительная сень» — имение Мара, где родился и рос Баратынский (см. вступительную статью). В стихе «Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен» и следующий речь идет об отце поэта, умершем в 1810 г. Картина Мары («Заглохший Элизей») сопоставлена с выдержанным в античном стиле изображением Элизей — царства мертвых («несрочная весна», «сладостная сень невянущих дубров»).

На посев леса (стр. 99). Тема стихотворения связана с посадкой леса в имении Мураново. Как объяснял П. Плетнев в письме к Я. Гроту: *сокрытый ров* означает «намек на разрыв пакости, которые в Москве делали Баратынскому юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств. *Свои роза* есть живописное изображение глупца в виде рогатой скотины» (см. стих. «Коттерии»).

Люблю я вас, богини пенья... (стр. 101). Богини пенья или Камены (античная мифология).

Когда, дитя и страсти и сомненья... (стр. 102). Адресовано жене поэта, Анастасии Львовне Баратынской.

К***. При отъезде в армию (стр. 105). Адресовано брату поэта, Ираклию Абрамовичу Баратынскому (1802—1859), впоследствии сделавшему крупную военную карьеру.

К Креницину (стр. 106). Адресовано товарищу Баратынского по Пажескому корпусу, Александру Николаевичу Креницину (1801—1865).

Дельвигу («Так, любезный мой Гораций») (стр. 107). адре-

совано поэту Антону Антоновичу Дельвигу (1798—1831). См. вступительную статью.

Коншину («Поверь, мой милый друг...») (стр. 112). Адресовано Николаю Михайловичу Коншину (1794—1865), ротному командиру Нейшлотского полка, где служил Баратынский, поэту близкого декабристам круга.

Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры (стр. 118). Адресовано Николаю Ивановичу Гнедичу (1784—1833), поэту, знаменитому переводчику «Илиады» Гомера.

«Вельможа-гражданин» — Н. С. Мордвинов (1754—1845), екатерининский вельможа, играл крупную роль в первые годы царствования Александра I, в годы реакции был в оппозиции и высоко ценился в декабристских кругах. Был воспет Пушкиным в стихотворении «Под хладом старости» и Рылевым в стихотворении «Гражданское мужество».

Н. И. Гнедичу (стр. 121). Гнедич был поэт старшего поколения, близкий передовой литературной молодежи пушкинского круга. Уважение к нему было связано с трудом, которому он посвятил много лет, с переводом «Илиады». В многочисленных стихотворных посланиях к нему поэты уподобляли его философам древности и превозносили его бескорыстное служение высокому искусству.

Аристип — греческий философ IV века до н. э., считавший высшим благом наслаждения, умеряемые рассудком.

Русские Афины — Петербург.

Апелл — Апеллес, греческий живописец IV века до н. э.

Фидий — знаменитый греческий скульптор V века до н. э.

Неизвестно, кто из русских мастеров здесь подразумевается. Гнедич, постоянно бывавший у президента Академии художеств Оленина, мог познакомить Баратынского с кем-либо из знаменитых художников и скульпторов.

Лутковскому (стр. 124). Адресовано командиру Нейшлотского полка, в котором служил Баратынский, полковнику Георгию Алексеичу Лутковскому (ум. в 1831 г.).

Военные рассказы Лутковского относятся к эпохе Наполеона.

«Епендорфские трофеи» — трофеи русской армии в одном из боев в Саксонии, в селении Эпшендорф, недалеко от Дрездена.

О своенравная София!.. (стр. 126). Адресовано Софии Дмитриевне Пономаревой (1794—1824). Её салон посещался многими известными литераторами, преимущественно близкими декабристскому кругу (см. вступительную статью).

К жестокой (стр. 127). Адресовано Пономаревой.

К *** («Мне с упоением заметным...») (стр. 128). Адресовано Пономаревой.

«Меж мудрецами был чужак» — имеется в виду Декарт, философия которого выражена в известной формуле: «Я мыслю — следовательно я существую».

Богдановичу (стр. 132). Обращено к поэту Ипполиту Федоровичу Богдановичу (1743—1803), автору поэмы «Душенька». Кот и петух — любимые животные Богдановича, с которыми он делил свое уединение.

Назон — Овидий, знаменитый римский поэт (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.). Имеется в виду послание Пушкина «К Овидию».

Д. Давыдову (стр. 135). Обращено к поэту-воину Де-

нису Васильевичу Давыдову (1784—1839). Имя Давыдова у Баратынского, как у всех свободомыслящих патриотов, было связано с народным движением Отечественной войны 1812 года.

«В народе славной бородой» — речь идет о том, что Давыдов руководя партизанским отрядом, отрастил себе бороду.

Языкову (стр. 136). Адресовано поэту Николаю Михайловичу Языкову (1803—1846). Является отзвуком на послание Языкова «И. В. Киреевскому» 1831 года. В этом стихотворении Языков называет свою поэзию (Камену-музу) «удалой», но утверждает, что «мечты похмелья» молодой Камены пройдут, и их сменит «Гимн отческому богу», — то есть стихотворения, посвященные России.

Дядьке-итальянцу (стр. 137). Посвящено памяти Джьячинто Боргезе (см. вступительную статью).

Почтенный генерал — А. А. Баратынский, отец поэта.

«Москва нас приняла». В 1808 году семья Баратынского переехала из Мары в Москву.

«Увы! оставив там могилу» — могила отца поэта, умершего в 1810 году.

«Земли, где зрел дивясь суворовских солдат» — речь идет о походе Суворова в Италию в 1799 году.

«Земли, где год спустя, тебе предстал и он» — речь идет о Наполеоне, его втором итальянском походе, ознаменованном битвой при Маренго (14 июня 1800 года).

Властитель стихов — Виргилий (70—19 гг. до н. э.), автор «Энеиды». Герой этой поэмы, Эней, спускался в ад («в мраке Тенара»).

Сумрачный поэт — Байрон, много лет путешествовавший и живший в Италии.

Дамон! ты начал — продолжай... (стр. 144). Дамон — имя пастушка в идиллиях, ставшее нарицательным. Здесь имеется в виду, повидимому, автор многочисленных идилий Владимир Иванович Панаев (1792—1859). Чуждый Баратынскому и его друзьям по своему направлению, как литературному, так и политическому, Панаев вел борьбу за первенство в салоне С. Д. Пономаревой (см. вступительную статью). Несколько легкомысленная хозяйка салона то отдаляла, то снова приближала к себе Панаева и его компанию.

«Или соперником собачки» — речь идет о шуточно воспетой Дельвигом и другими посетителями дома Пономаревой её любимой собачке Амике.

Поэт Писцов в стихах тяжеловат... (стр. 145). Направлено против поэта Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835), отличавшегося необыкновенной литературной плодовитостью. Старомодные стихи Хвостова были предметом всеобщих насмешек.

В своих стихах он скукой жмшит... (стр. 146). Направлено против Хвостова (см. выше), отличавшегося страстью всем читать свои стихи.

Везде бранит поэт Клеон... (стр. 147). Повидимому, направлено против Александра Ефимовича Измайлова (1779—1831), баснописца, издателя журнала «Благонамеренный». В начале 20-х годов Измайлов помещал в своем журнале резкие нападки на поэтов пушкинского круга и в частности на Баратынского.

Свои стишки Тощев пиит... (стр. 148). Направлено против Александра Ардалионовича Шишкова «младшего» (1799—1832). В своих поэмах «Дагестанская узница» и др. Шишков под-

ражает Пушкину. Подражателем Пушкина прямо называет его и Кюхельбекер в отзыве на сборник Шишкова «Восточная лютня».

Отчизны враг, слуга царя... (стр. 149). Эпиграмма на Аракчеева.

Войной журнальною бесчестит без причины... (стр. 151). Эпиграмма направлена против поэта Вяземского (см. стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому»). Сам он писал: «Баратынский говаривал о мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бояр, например Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачные бои».

Ты ропщешь, важный журналист... (стр. 154). *Важный журналист* — консервативный журналист Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842), издатель «Вестника Европы», где он в 20-х годах помещал пародии и эпиграммы на поэтов пушкинской группы.

«Что ни болтай, а я великий муж!»... (стр. 155). Направлено против Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789—1859), реакционного журналиста и писателя.

«Как секретарь, судебную бумагу» — намек на длительный судебный процесс, который вел от имени своего дяди Булгарин.

В своих листах душонкой ты кривишь... (стр. 156). Эпиграмма направлена против Булгарина (см. выше), издателя газеты «Северная пчела». В газете этой, с расчетом на сенсацию, печатались различные сплетни и литературные пасквили.

На некрасивую виньетку, представляющую автора за письменным столом, а подле него Истину (стр. 157). Направлено против Булгарина. Речь идет о виньетке на титульном листе «Сочинений Фаддея Булгарина» (1827 г.). Булгарин в предисловии к своим сочинениям, названном «Истина и сочинитель», пишет: «Цель трудов моих — польза и удовольствие моих сограждан. Достигнул ли сей цели — это решат они, а мне дело стремиться к ней. Я служу Истине; она наставит и защитит меня... Вдруг кабинет Сочинителя озарился приятным светом наподобие утренней зари; он в изумлении оглянулся и видит женщину, прекрасную, как идеал Поэзии. Она была облечена в белую полупрозрачную одежду и сладостно улыбалась. Ты назвал меня своим служителем, — сказала она, — и я пришла навесить тебя. Сочинитель: Неужели ты... Истина? Истина: Точно так».

Идиллик новый на искус... (стр. 159). Направлено против Панаева, автора слащавых идиллий. См. стих. «Дамон, ты начал...»

Откуда взял Василий непотешный... (стр. 160). *Василий непотешный* — Василий Львович Пушкин (1767—1830), поэт, писал эпиграммы и сатиры, по мнению современников, не слишком остроумные. Единственной литературной удачей его была комическая поэма «Опасный сосед» («Потешный Буянов»).

Что пользы вам... (стр. 165). Эпиграмма написана по поводу развернувшейся в 1829 году полемики между журналами «Московский телеграф» Н. Полевого и «Галатей» С. Раича. Полемика не затрагивала принципиальных вопросов и носила характер личной перебранки журналистов.

Историческая эпиграмма (стр. 166). Направлена против М. Т. Каченовского («Маститый Зоя»), поместившего в своем

журнале «Вестник Европы» статьи Николая Ивановича Надеждина (1804—1856) против романтического направления и Пушкина.

Поверьте мне — Фиглярин-моралист... (стр. 167). Фиглярин — Булгарин (см. выше). Булгарин не гнушался самыми темными путями для устройства своих дел и в то же время любил в печати выступать с проповедью высшей морали.

В восторженном невежестве своем... (стр. 169). Направлено против Николая Алексеевича Полевого (1796—1846), автора «Истории русского народа». Полевой в своих исторических сочинениях являлся противником Карамзина, нападал на «Историю Государства Российского». Писатели пушкинского круга в «Литературной газете» выступали в защиту знаменитого историографа, обвиняя Полевого в научном легкомыслии и невежестве.

«На свой аршин он славу нашу мерит» — намек на купеческое происхождение Полевого и в то же время на его желание оспаривать славу Карамзина.

Он вам знаком. Скажите, кстати... (стр. 170). Направлено против Полевого (см. выше эпиграмму «В восторженном невежестве своем»).

Писачка в Фебов двор явился (стр. 171). Направлено против Полевого (см. выше) по поводу его нападения на Пушкина в статье «Утро в кабинете знатного барина» в «Новом живописце общества и литературы», 1830, № 10.

Надоумко — псевдоним журналиста Надеждина (см. выше), резко нападавшего на Полевого в своих статьях 1828—1829 гг. в «Вестнике Европы».

Обеды (стр. 173). «Не менее Харит своим числом» — не меньше трех человек (три Хариты, или грации, в античной мифологии). «Числа Камен у вас не превышали» — не больше девяти человек (девять Камен, или Муз, в античной мифологии).

Коттерии (стр. 176). Коттерии (дательный падеж слова «коттерия», итал.-франц.) — кружки заговорщиков, действующих темными путями. Эпиграмма направлена против кружка литераторов, объединенных журналом «Москвитянин», ополчившегося на Белинского. Последние стихи эпиграммы перефразируют евангельское изречение: «Где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них».

Спасибо злобе хлопотливой... (стр. 177). Эпиграмма направлена против литераторов славянофильского круга «Москвитянин» (см. примечание к «Коттериям»). Историк-библиограф П. А. Бартенев, публикуя эпиграмму, отметил: «Живя в Москве, Баратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и всё жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности пробудили его из усыпления. Он снова и деятельно принялся за работу, и когда его раз спросили, отчего произошла в нем такая быстрая перемена, он отвечал прилагаемым осмистишием».

Богоизбранный еврей — Иисус Навин. По библейскому сказанию, он остановил солнце, чтобы дать возможность иудеям победоносно закончить битву с филистимлянами.

Флакк — Гораций (65—8 гг. до н. э.), знаменитый римский поэт, в своих посланиях воспевавший молодость, пиры, любовь и дружбу.

Когда твой голос, о Поэт (стр. 178). Стихотворение

представляет собой оригинальное соединение элегического и сатирического начала и по существу является эпиграммой. Направлено против критиков-зоилов Пушкина, которые, ругая его при жизни, «сложили каноны» в честь гения после его смерти.¹

Авроре Шернваль (стр. 183). Адресовано знаменитой красавице Авроре Карловне Шернваль (1808—1902), дочери Выборгского губернатора. Красота Авроры неизменно связывалась с её именем, символизирующим зарю.

А. А. Воейковой (стр. 188). Посвящено Александре Андреевне Воейковой (1797—1829), жене журналиста Воейкова, известной «Светлане», вдохновительнице Жуковского.

К *** («Не бойся едких осуждений...») (стр. 190). Посвящено польскому поэту А. Мицкевичу.

«*Едкие осуждения*» — отзывы в польской реакционной печати о «*Ирымских сонетах*» и других произведениях Мицкевича.

Не подражай: своеобразен гений... (стр. 191). Стихотворение вызвано вышедшей в феврале 1828 года поэмой Мицкевича «Конрад Валленрод», в которой Баратынский увидел некоторое влияние Байрона.

В альбом (стр. 195). Стихотворение обращено к поэтессе Каролине Карловне Яниш (1807—1893), впоследствии жене писателя Н. Ф. Павлова.

К Э. А. Волконской (стр. 196). Посвящено Зинаиде Александровне Волконской (1792—1862), блестящей красавице, поэтессе и музыкантше, прозванной современниками «Северной Коринной».

Коринна — героиня одноименного произведения (1807 г.) Сталь, замечательная женщина, музыкантша и поэтесса. Действие романа происходит на фоне Италии, римского Капитолия. Имя Коринны стало нарицательным для одаренных и образованных женщин. Сходство с героиней романа Сталь усугублялось тем, что Волконская большую часть жизни проводила в Италии (*Авзонийский небосклон*).

К. А. Свербеевой (стр. 197). Адресовано Екатерине Александровне Свербеевой (ум. в 1892 г.), жене Д. Н. Свербеева, литератора, в начале 30-х годов близкого Баратынскому.

«*Небо наше покидая*» — речь идет об отъезде Свербеевых за границу.

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне... (стр. 201). Обращено к жене поэта, Анастасии Львовне Баратынской (см. вступительную статью).

Своеобразное прозвание... (стр. 202). Обращено к жене поэта.

К. А. Тимашевой (стр. 206). Обращено к Екатерине Александровне Тимашевой, рожд. Загряжской (1798—1881), светской красавице, поэтессе.

Кольцо. С. Энгельгардт (стр. 207). Посвящено Софии Энгельгардт, сестре жены поэта.

Пироскаф (стр. 210). *Пироскаф* (итал.) — паролод. Написано во время морского путешествия Баратынского из Франции в Италию.

Князю Петру Андреевичу Вяземскому (стр. 215). Вяземский, Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик, блестящий эпиграмматист и полемист. Вяземский принадлежал к тому кругу литераторов, к которому всегда тяготел Баратынский. Под *пледой* здесь надо понимать Пушкина и поэтов-декабристов.

Последний поэт (стр. 217). «Вновь Эллада ожила» — имеется в виду современная Греция, которая в результате длительной национально-освободительной борьбы в 1830 году была признана независимым государством.

«Сия скала... Тень Сафо...» — имеется в виду легенда о том, что знаменитая поэтесса древней Греции Сафо (VII—VI век до н. э.) бросилась со скалы в море, отвергнутая Фаоном.

Новинское. А. С. Пушкину (стр. 221). Новинское (ныне Новинский бульвар) — в те времена место гуляний московского общества. Здесь, повидимому в 1826 году, произошла встреча Баратынского с Пушкиным и какой-то неизвестной нам женщиной.

Всегда и в пурпуре и злате... (стр. 223). Повидимому, речь идет о А. Ф. Закревской или ее портрете (см. вступительную статью).

Увы! Творец не первых сил... (стр. 224). «Неаполь возмутил рыбака» — эпизод неаполитанской революции 1647 года. Рыбак Мазаньелло (1623—1647) захватил управление Неаполем в свои руки и освободил город от испанского владычества, однако вскоре был вынужден капитулировать перед испанским вице-королем.

Недоносок (стр. 225). Слово недоносок здесь употреблено в значении мертворожденного, невоплотившегося. Имеется в виду верование в то, что душа ребенка, умершего до крещения, мечется между землей и небом, не находя успокоения.

Алкивиад (стр. 227). Алкивиад — знаменитый афинский полководец и государственный деятель (451—404 г. до н. э.), отличавшийся необычайным славолубием, за которое его осуждали афинские философы (Сократ). Красота и слава Алкивиада создали ему необыкновенный успех у женщин.

Филида с каждою зимою... (стр. 230). Филида — стареющая, но не оставляющая роли жрицы любви и красоты женщина. Повидимому, здесь имеется в виду А. Ф. Закревская (см. вступительную статью и примечание к поэме «Бал»).

Образ Афродиты гробовой напоминает сравнение Закревской с «мраморной гробницей», сделанное Баратынским в письме к Пютате в 1825 году.

Ахилл (стр. 235). Главный герой «Илиады» Ахилл (Ахиллес, сын Пелея) казался непобедимым в бою, пока Парис не поразил его стрелой, попавшей в пятку, единственное уязвимое место Ахилла.

Стикс — в греческой мифологии — река, обтекающая царство мертвых.

Здравствуй, отрок сладкогласный... (стр. 239). Адресовано сыну поэта, Льву Евгеньевичу Баратынскому (1829—1906), по поводу его «первой стихотворной сюиты».

Скульптор (стр. 242). В стихотворении имеется в виду античный миф о скульпторе Пигмаллоне, который влюбился в сделанную им статую Галатеи. Богиня любви Афродита оживила статую, и Галатея стала женой Пигмаллона.

Осень (стр. 243). Баратынский писал Вяземскому в 1837 году: «Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения». Строфы эти (14—15) проникнуты пессимизмом и весьма возможно, что имеют, кроме общей философской мысли, и второй, реальный смысл, то есть что здесь речь идет о гибели Пушкина и «новорожденном свете» «другой звезды» в поэзии (Тютчева, в это время выступившего с целым рядом своих произведений, или

Лермонтова, стихотворение которого «На смерть поэта», несомненно, стало известно Баратынскому).

Благословен святое возвестивший... (стр. 248). Речь идет о «неправедном изгибе», «намек», по которому художник узнает и разоблачает порок, а не о человеке неправедном, но сохранившем живую душу, дар творчества, как думал В. Брюсов, ставивший запятую после слова «неправедный».

«Плод яблони со древа упадет» — имеется в виду предание о том, что Ньютон открыл закон земного тяготения, увидев падающее с дерева яблоко.

Рифма (стр. 249). Баратынский имеет в виду традиционные выступления поэтов и ораторов античной древности на Олимпийских играх. М. Муравьев в «Эмилиевых письмах», со слов историка Фукидида, пишет: «Когда Геродот читал историю свою на Олимпийских играх, тогда всё несчетное множество греческих народов в глубоком молчании упосвалось слушаньем, и гром плесканий увенчивал оное».

Бал (стр. 259). Баратынский писал об этой поэме своему другу Путяте: «В самой поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она — моя «героиня». Она — Закревская (см. примечание к стих. «Как много ты в немного дней» и вступительную статью). В изображении любви Нины к Арсению Баратынский использовал реальные факты из жизни Закревской.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авроре Шернваль (Выдь, дохни нам упоеньем) — 183.
Алкивиад (Облокотясь перед медью, образ его отражавшей) — 227.
Альбом походит на кладбище (В альбом) — 195.
Ахилл (Влага Стикса закалила) — 235.
- Бал (Глухая полночь. Строем длинным) — 259.
Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой (Дядькс-итальянцу) — 137.
Бежит неверное здоровье (Элизийские поля) — 54.
Бесенок (Слыхал я, добрые друзья) — 193.
Благословен святое возвестивший! — 248.
Богдановичу (В садах Элизия, у вод счастливой Леты) — 132.
Бокал (Полный влагой искрометной) — 231.
Болящий дух врачует песнопенье — 89.
Братайтесь, к взаимной обороне (Коттерии) — 176.
Буря (Завыла буря; хлябь морская) — 63.
Бывало, отрок, звонким кликом — 83.
Бывало, свет позабывая (Языкову) — 136.
Были бури, непогоды — 233.
- В альбом (Альбом походит на кладбище) — 195.
Вам всё дано с щедротою пристрастной (К. А. Тимашевой) — 206.
В восторженном невежестве своем — 169.
В глуши лесов счастлив один (Стансы) — 60.
В дни безграничных увлечений — 82.
В дорогу жизни снаряжая (Дорога жизни) — 152.
Везде бранит поэт Клеон — 147.
Век шествует путем своим железным (Последний поэт) — 217.
Венчали розы, розы Леся (Старик) — 192.
Весна, весна! как воздух чист! — 95.
Взгляни на звезды: много звезд (Звезда) — 184.
Взгляни на лик холодный сей (Надпись) — 186.
В Италии где-то, но в поле пустом (Младона) — 199.
Влага Стикса закалила (Ахилл) — 235.
Влюбился я, полковник мой (Лутковскому) — 124.
В небе нашем исчезает (К. А. Свербесвой) — 197.
Водопад (Шуми, шуми с крутой вершины) — 35.
Войковой А. А. (Очарованье красоты) — 188.
Войной журнальною бесчестит без причины — 151.
Враг суетных утех и враг утех позорных (Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры) — 118.

В руках у этого педанта (На ***)—174.
В садах Элизия, у вод счастливой Леты (Богдановичу)—132.
В свои расселины вы приняли певца (Финляндия)—30.
В своих листах душонкой ты кривись—156.
В своих стихах он скукой дышит—146.
Всегда и в пурпуре и в злате—223.
Всё мысль, да мысль! Художник бедный слова!—241.
Видь, дохни нам упоеньем (Авроре Шерваль)—183.

Где сладкий шопот—204.

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой (Послание к барону Дельвигу)—109.

Глубокий взор вперив на камень (Скульптор)—242.

Глупцы не чужды вдохновенья—161.

Глухая полночь. Строем длинным (Бал)—259.

Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры (Враг суетных утех и враг утех позорных)—118.

Гнедичу Н. И. (Так! для отрадных чувств)—121.

Давыдову Д. (Пока с восторгом я умею)—135.

Дай руку мне, товарищ добрый мой (Дельвигу)—116.

Дало две доли провиденье (Две доли)—47.

Дамон! ты начал—продолжай—144.

Две доли (Дало две доли провиденье)—47.

Делии (Зачем, о Делия, сердца младые ты)—41.

Дельвигу (Дай руку мне, товарищ добрый мой)—116.

Дельвигу (Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти)—115.

Дельвигу (Так, любезный мой Гораций)—107.

Дельвигу (Я безрассуден—и не диво!)—130.

Деревня (Люблю деревню я и лето)—164.

Дикою, грозною ласкою полны (Пироскаф)—210.

Дитя мое, она сказала (Кольцо. С. Энгельгардт)—207.

Догадка (Любви приметы)—43.

Дорога жизни (В дорогу жизни снаряжая)—152.

Друзья мои! я видел свет (Пир)—253.

Душ холодных упованье (Лета)—48.

Дядьке-итальянцу (Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой)—137.

Есть бытие; но именем каким (Последняя смерть)—68.

Есть грот: Наяда там в полдневные часы (Наяда)—189.

Есть милая страна, есть угол на земле—91.

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней (Она)—67.

Еще как патриарх не древен я—237.

Желтел печально знак полей (Падение листьев)—50.

Завыла буря; хлябь морская (Буря)—63.

Запустение (Я посетил тебя, пленительная сень)—97.

Зачем, о Делия, сердца младые ты (Делии)—41.

Звезда (Взгляни на звезды: много звезд)—184.

Звезды (Мою звезду, я знаю, знаю) — 209.
Здравствуй, отрок сладкогласный — 239.

И вот сентябрь! замедля свой восход (Осень) — 243.

Идиллик новый на искус — 159.

Из царства виста и вимы (К Э. А. Волконской) — 196.

Истина (О счастьях с младенчества тоскуя) — 45.

Историческая эпиграмма (Хвала, маститый наш Зоил!) — 166.

Итак, мой милый, не шутя (К ***. При отъезде в армию) — 105.

И ты поэт и он поэт — 150.

Как жизни общие призывы (Князю Петру Андреевичу Вяземскому) — 215.

Как много ты в немного дней (К ***) — 61.

Как ревностно ты сам себя дурачишь — 162.

Как сладить с глупостью глупца — 158.

К жестокой (Неизвинительной ошибкой) — 127.

К Э. А. Волконской (Из царства виста и вимы) — 196.

К *** (Как много ты в немного дней) — 61.

К Креницину (Товарищ радостей младых) — 106.

К Кюхельбекеру (Прости, Повт! судьбина вновь) — 111.

К *** (Мне с упоением заметным) — 128.

К *** (Не бойся едких осуждений) — 190.

Князю Петру Андреевичу Вяземскому (Как жизни общие призывы) — 215.

Когда взойдет денница золотая (Песня) — 187.

Когда, дитя и страсти и сомненья — 102.

Когда исчезнет омраченье — 86.

Когда твой голос, о Поэт! — 178.

Когда на играх олимпийских (Рифма) — 249.

Когда печалью вдохновенный (Подражателям) — 77.

Кольцо. С. Энгельгардт (Дитя мое, она сказала) — 207.

Коншину (Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам) — 112.

Коншину (Пора покинуть, милый друг) — 113.

Коттерии (Братайтесь, к взаимной обороне) — 176.

К ***. При отъезде в армию (Итак, мой милый, не шутя) — 105.

Красного лета отрава, муха досадная, что ты (Ропот) — 228.

К чему невольнику мечтания свободы — 85.

Лазурные очи (Люблю я красавицу) — 198.

Лета (Душ холодных упованье) — 48.

Лутковскому (Влюбился я, полковник мой) — 124.

Любви приметы (Догадка) — 43.

Люблю деревню я и лето (Деревня) — 164.

Люблю я вас, богини пенья — 101.

Люблю я красавицу (Лазурные очи) — 198.

Любовь (Мы пьем в любви отраву, сладкую) — 65.

Мадона (В Италии где-то, но в поле пустом) — 199.

Мне о любви твердила ты шутя (Размолвка) — 49.

Мне с упоением заметным (К ***) — 128.

Мой дар убог и голос мой не громок — 76.

Мой неискусный карандаш — 203.
Мой Элизий (Не славь, обманутый Орфей) — 81.
Молитва (Царь небес! успокой) — 212.
Мою звезду я внаю, внаю (Звезды) — 209.
Мудрецу (Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, фило-соф) — 229.
Муза (Не ослеплен я Музою моею) — 79.
Мы пьем в любви отраву сладкую (Любовь) — 65.

На *** (В руках у этого педанта) — 174.
На всё свой ход, на всё свои законы — 175.
Надпись (Взгляни на лик холодный сей) — 186.
На некрасивую виньетку, представляющую автора за письменным столом, а подле него Истину (Он точно, он бесспорно) — 157.
На посев леса (Опять весна; опять смеется луг) — 99.
Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти (Дельвигу) — 115.
Наслаждайтесь: всё проходит — 84.
На смерть Гёте (Предстала, и старец великий смежил) — 93.
На что вы, дни! Юдольный мир явленья — 234.
Наяда (Есть грот: Наяда там в полдневные часы) — 189.
Небо Италии, небо Торквата — 80.
Не бойся едких осуждений (К ***) — 190.
Недоносок (Я из племени духов) — 225.
Неизвинительной ошибкой (К жестокой) — 127.
Не искушай меня без нужды (Разуверение) — 40.
Не ослеплен я Музою моею (Муза) — 79.
Не подражай: своеобразен гений — 191.
Не растравляй моей души — 88.
Не славь, обманутый Орфей (Мой Элизий) — 81.
Нет, обманула вас молва (Уверенье) — 62.
Не трагайте Парнасского пера — 153.
Новинское. А. С. Пушкину (Она улыбкою своей) — 221.

Обеды (Я не люблю хвастливые обеды) — 173.
Облокотясь перед медью, образ его отражавшей (Алкивиад) — 227.
О верь: ты, нежная, дороже славы мне — 201.
Окогченная летунья (Эпиграмма) — 143.
О мысли! тебе удел цветка — 90.
Она (Есть что-то в ней, что красоты прекрасней) — 67.
Она улыбкою своей (Новинское. А. С. Пушкину) — 221.
Он близок, близок день свиданья (Элегия) — 29.
Он вам знаком. Скажите, кстати — 170.
Он точно, он бесспорно (На некрасивую виньетку, представляющую автора за письменным столом, подле него Истину) — 157.
Оправдание (Решительно, печальных строк моих) — 58.
Опять весна; опять смеется луг (На посев леса) — 99.
О своенравная София! — 126.
Осень (И вот сентябрь! замедля свой восход) — 243.
О счастья с младенчества тоскуя (Истина) — 45.
Откуда взял Василий непотешный — 160.
Отчизны враг, слуга царя — 149.
Отъезд (Прощай, отчизна непогоды) — 34.
Очарованье красоты (А. А. Воейковой) — 188.

Падение листьев (Желтел печально злак полей) — 50.
 Песня (Когда взойдет денница золотая) — 187.
 Пироскаф (Дикою, грозною ласкою полны) — 210.
 Пирьы (Друзья мои! я видел свет) — 253.
 Писачка в Фебов двор явился — 171.
 Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам (Коншину) — 112.
 Поверьте мне — Фиглярин-моралист — 167.
 Под бурею судеб, унылый, часто я (Смерть. Подражанье
 А. Шенье) — 73.
 Подражателям (Когда печалью вдохновенный) — 77.
 Пока с восторгом я умею (Д. Давыдову) — 135.
 Пока человек естества не пытал (Приметы) — 222.
 Полный влагой искрометной (Бокал) — 231.
 Пора покинуть, милый друг (Коншину) — 113.
 Порою ласковую Фею (Фея) — 66.
 Послание к барону Дельвигу (Где ты, беспечный друг? где ты,
 о Дельвиг мой) — 109.
 Последний поэт (Век шествует путем своим железным) — 217.
 Последняя смерть (Есть бытие; но именем каким) — 68.
 Поцелуй (Сей поцелуй, дарованный тобой) — 42.
 Поэт Писцов в стихах тяжеловат — 145.
 Предрассудок! он обломок — 220.
 Предстала, и старец великий смежил (На смерть Гёте) — 93.
 Признание (Притворной нежности не требуй от меня) — 52.
 Приметы (Пока человек естества не пытал) — 222.
 Притворной нежности не требуй от меня (Признание) — 52.
 Прости, Поэт! судьбина вновь (К Кюхельбекеру) — 111.
 Простите, спорю невпопад — 185.
 Прощай, отчизна непогоды (Отъезд) — 34.

Разлука (Расстались мы; на миг очарованьем) — 32.
 Размолвка (Мне о любви твердила ты шутя) — 49.
 Разуверение (Не искушай меня без нужды) — 40.
 Рассеивает грусть пиров веселый шум (Уныние) — 39.
 Расстались мы; на миг очарованьем (Разлука) — 32.
 Решительно, печальных строк моих (Оправдание) — 58.
 Рим (Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель) — 36.
 Рифма (Когда на играх олимпийских) — 249.
 Родина (Я возвращуся к вам, поля моих отцов) — 37.
 Ропот (Красного лета отравы, муха досадная, что ты) — 228.
 Русская песня (Страшно воет, завывает) — 181.

Свербеевой К. А. (В небе нашем исчезает) — 197.
 Свободу дав тоске моей (Утешение) — 33.
 Своенравное прозвание — 202.
 Свои стишки Гоццев пиит — 148.
 С восходом солнечным Людмила (Цветок) — 182.
 Сей поцелуй, дарованный тобой (Поцелуй) — 42.
 Сердечным нежным языком — 172.
 Скульптор (Глубокий взор вперив на камень) — 242.
 Слыхал я, добрые друзья (Бесенок) — 193.
 Смерть дщерью тьмы не назову я (Смерть) — 71.

Смерть. Подражание А. Шенье (Под бурю судеб, унылый, часто я) — 73.
Смерть (Смерть дочерью тьмы не назову я) — 71.
Сначала мысль, воплощена — 236.
Спасибо злобе хлопотливой — 177.
Стансы (В глуши лесов счастлив один) — 60.
Стансы (Судьбой наложенные цепи) — 74.
Старательно мы наблюдаем свет — 163.
Старик (Венчали розы, розы Леля) — 192.
Страшно вост, завывает (Русская песня) — 181.
Судьбой наложенные цепи (Стансы) — 74.

Так! для отрадных чувств еще я не погиб (Н. И. Гнедичу) — 121.
Так, любезный мой Гораций (Дельвигу) — 107.
Тимашевой К. А. (Вам всё дано с щедротою пристрастной) — 206.
Товарищ радостей младых (К Креницину) — 106.
Толпе тревожный день привечен, но страшна — 238.
Тщето меж бурною жизнью и хладною смертью, философ (Мудрецу) — 229.
Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель (Рим) — 36.
Ты ропщешь, важный журналист — 154.

Уверенье (Нет, обманула вас молва) — 62.
Увы! Творец не первых сил! — 224.
Уныние (Рассеивает грусть пиров веселый шум) — 39.
Усопший брат! Кто сон твой возмутил? (Череп) — 56.
Утешение (Свободу дав тоске моей) — 33.

Фея (Порою ласковую Фею) — 66.
Филида с каждою зимою — 230.
Финляндия (В свои расселины вы приняли певца) — 30.

Хвала, маститый наш Зоил! (Историческая эпиграмма) — 166.
Хотя ты малой молодой — 168.

Царь небес! успокой (Молитва) — 212.
Цветок (С восходом солнечным Людмила) — 182.

Череп (Усопший брат! кто сон твой возмутил?) — 56.
Что за звуки? мимоходом — 240.
«Что ни болтай, а я великий муж!» — 155.
Что пользы вам от шумных ваших прений — 165.
Чувствительны мне дружеские пени (Эпилог) — 44.
Чудный град порой сольется — 78.

Шуми, шуми с крутой вершины (Водопад) — 35.

Элегия (Он близок, близок день свиданья) — 29.
Элизийские поля (Бежит неверное здоровье) — 54.

Эпиграмма (Окогченная летунья) —143.
Эпилог (Чувствительны мне дружеские пени) —44.

Я безрассуден — и не диво! (Дельвигу) —130.
Я возвращуся к вам, поля моих отцов (Родина) —37.
Языкову (Бывало, свет позабывая) —136.
Я из племени духов (Недоносок) —225.
Я не любил ее, я знал —87.
Я не люблю хвастливые обеды (Обеды) —173.
Я посетил тебя, пленительная сень (Запустение) —97.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Баратынский.— Статья *И. Медведевой* 5

I

Элегия (Он близок, близок день свиданья...)	29
Финляндия	30
Разлука	32
Утешение	33
Отъезд	34
Водопад	35
Рим	36
Родина	37
Уныние	39
Разуверение (Не искушай меня без нужды...)	40
Делии	41
Поцелуй	42
Догадка	43
Эпилог	44
Истина	45
Две доли	47
Лета	48
Размолвка	49
Падение листьев	50
Признание	52
Элизийские поля	54
Череп	56
Оправдание	58
Стансы (В глуши лесов)	60
К *** (Как много ты в немного дней)	61
Уверенье (Нет, обманула вас молва)	62
Буря	63
Любовь	65
Фея	66
Она	67
Последняя смерть	68
Смерть	71
Смерть. Подражанье А. Шенье	73
Стансы (Судьбой наложенные цепи...)	74
Мой дар убог...	76
Подражателям	77
Чудный град порой сольется...	78

Муза	79
Небо Италии, небо Торквата...	80
Мой Элизий (Не славь, обманутый Орфей...)	81
В дни безграничных увлечений...	82
Бывало, отрок, звонким кликом...	83
Наслаждайтесь, всё проходит...	84
К чему невольнику мечтания свободы...	85
Когда исчезнет омраченье...	86
Я не любил ее, я знал...	87
Не растравляй моей души	88
Болящий дух врачует песнопенье...	89
О мысль! Тебе удел цветка...	90
Есть милая страна...	91
На смерть Гете	93
Весна, весна!	95
Запустение	97
На посев леса	99
Люблю я вас, богини пенья...	101
Когда, дитя и страсти и сомненья...	102

II

К ***. При отъезде в армию	105
К Креницину	106
Дельвигу (Так, любезный мой Гораций...)	107
Послание к барону Дельвигу (Где ты, беспечный друг?..)	109
К Кюхельбекеру	111
Коншину (Поверь, мой милый друг...)	112
Коншину (Пора покинуть, милый друг...)	113
Дельвигу (Напрасно мы, Дельвиг...)	115
Дельвигу (Дай руку мне...)	116
Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры	118
Н. И. Гнедичу	121
Лутковскому	124
О своенравная София!..	126
К жестокой	127
К *** (Мне с упоением заметным...)	128
Дельвигу (Я безрассуден...)	130
Богдановичу	132
Д. Давыдову	135
Языкову (Бывало, свет позабывая...)	136
Дядьке-итальянцу	137

III

Эпиграмма (Окогченная лстунья...)	143
Дамон! Ты начал — продолжай	144
Поэт Писцов в стихах тяжеловат...	145
В своих стихах он скукой дышит...	146
Везде бранит поэт Калсон	147
Свои стишки Тощев пнит	148
Отчизны враг, слуга царя...	149
И ты поэт, и он поэт	150
Войной журнальною бесчестит без причины...	151
Дорога жизни	152

Не трогайте Парнасского пера...	153
Ты ропщешь, важный журналист...	154
«Что ни болтай, а я великий муж...»	155
В своих листах душонкой ты кривись...	156
На некрсивую виньтку, представляющую автора за письменным столом, а подле него Истину	157
Как сладить с глупостью глупца...	158
Идиллик новый на искус...	159
Откуда взял Василий испотешный...	160
Глупцы не чужды вдохновенья...	161
Как ревностно ты сам себя дурачишь...	162
Старательно мы наблюдаем свет...	163
Деревня	164
Что пользы вам...	165
Историческая эниграмма	166
Поверьте мне — Фиглярин-моралист...	167
Хотя ты малой молодой...	168
В восторженном невежестве своем...	169
Он вам знаком. Скажите, кстати...	170
Писачка в Фебов двор явился...	171
Сердечным, нежным языком...	172
Обеды	173
На *** (В руках у этого педанта...)	174
На всё свой ход...	175
Коттерии	176
Спасибо злобе хлопотливой...	177
Когда твой голос, о Поэт...	178

IV

Русская песня	181
Цветок	182
Авроре Шернваль	183
Звезда	184
Простите, спорю невпопад...	185
Надпись	185
Песня	187
А. А. Восйковой	188
Наяда	189
К *** (Не бойся едких осуждений)	190
Не подражай: свособразен гений	191
Старик	192
Бессенок	193
В альбом	195
К Э. А. Волконской	196
К. А. Свербеевой	197
Лазурные очи	198
Мадона	199
О верь: ты, нежная...	201
Своснравное прозвание...	202
Мой неискусный карандаш...	203
Где сладкий шопот...	204
К. А. Тимашевой	206
Кольцо (С. Энгельгардт)	207
Звезды	209

Пироскаф	210
Молитва	212

V

СУМЕРКИ

Князю Петру Андреевичу Вяземскому	215
Последний поэт	217
Предрассудок! он обломок...	220
Новинское (А. С. Пушкину)	221
Приметы	222
Всегда и в пурпуре и злате	223
Увы, творец не первых сил...	224
Недоносок	225
Алквиад	227
Ропот (Красного лета отрав...)	228
Мудрецу	229
Филида с каждою зимою...	230
Бокал	231
Были буря, непогоды...	233
На что вы, дни...	234
Ахилл	235
Сначала мысль, воплощена...	236
Еще как патриарх, не древен я...	237
Толпе тревожный день приветен...	238
Здравствуй, отрок сладкогласный...	239
Что за звуки? мимоходом...	240
Всё мысль, да мысль!..	241
Скульптор	242
Осень	243
Благословен святое возвестивший...	248
Рифма	249

VI

ПОЭМЫ

Пирь	253
Бал	259
Примечания	275
Алфавитный указатель	284

Редактор К. Пигарев

*

Подписано к печати 19,III 1945 г.
А13057. Тираж 25 000 экз. 18,5 печ. л.
10,26 уч.-авт. л. Зак. № 1578.
Цена 4 руб.

*

6-я типография треста «Полиграфкнига»
ОГИЗа при СНК РСФСР.
Москва, 1-й Самотечный пер., 17.